Франсуа
МОРИАК

Инстинкт всегда подсказывал ему, когда женщина оказывалась в его власти и готова была молить о пощаде. Он слышал зов молодого женского тела. Он обладал столькими женщинами, к которым нельзя было подступиться! Они были замужем за настоящими мужчинами, не то что этот плюгавый Пелуер! Неужели уязвленная им, не в пример другим лишенная защиты, она будет единственной, кто ускользнет от него?

Поцелуй прокаженного

ISBN 5-275-00701-9

ПОЦЕЛУЙ ПРОКАЖЕННОМУ
МАТЕРЬ
ПУСТЫНЯ ЛЮБВИ
ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ
КЛУБОК ЗМЕЙ

Франсуа МОРИАК

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН

Франсуа
МОРИАК

ПОЦЕЛУЙ ПРОКАЖЕННОМУ
МАТЕРЬ
ПУСТЫНЯ ЛЮБВИ
ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ
КЛУБОК ЗМЕЙ



Тереза Дескейру
Франсуа Шарль Мориак

Аннотация
Франсуа Мориак. Тереза Дескейру
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Аннотация

Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.

Франсуа Мориак
Тереза Дескейру

Господи, смилуйся, смилуйся над безумцами, над безумными мужчинами и женщинами! Разве может считать их чудовищами тот, кто один только знает, почему они существуют на свете, отчего они стали такими и как они могли бы не быть чудовищами?

Шарль Бодлер

Тереза, многие скажут, что ты не существуешь. Но я знаю — ты существуешь: ведь уже годы и годы я слежу за тобой, нередко останавливаю, когда ты проходишь мимо, и я срываю с тебя маску.

Помню, как юношей я увидел твое бледное личико с тонкими губами в душном зале суда, где судьбу твою решали судейские чиновники, менее свирепые, чем расфуфыренные дамы.

Позднее ты появилась передо мной в гостиной помещичьего дома в образе молодой нервной женщины, которую раздражали своими заботами старушки-родственницы и простоватый муж. «Да что это с ней? — говорили они. — Уж мы-то, кажется, предупреждаем все ее желания».

А с тех пор сколько раз я любовался тобой, когда ты сидела, задумавшись, подперев изящной, но вовсе не крошечной рукой свой прекрасный высокий лоб! Сколько раз я видел сквозь живые прутья клетки, именуемой семьей, как ты металась там, словно волчица, и косила на меня злобным и печальным взглядом.

Многие, вероятно, будут удивляться, как я мог создать образ, еще более отталкивающий, чем прочие мои герои. Неужели мне никогда не удастся вывести на сцену людей, излучающих

добродетель, открытых сердцем? Однако у человека «открытого сердца» не бывает трагических историй, а мне ведомы драмы сердец замкнутых, тесно связанные с грязной человеческой плотью.

Я хотел бы, Тереза, чтобы страдания привели тебя к Богу, долго питал надежду, что ты будешь достойна имени святой Локусты. Но ведь многие из тех, кто верит, однако, в искупление падших и страждущих душ, стали бы тогда кричать о кощунстве.

Как бы то ни было, расставшись с тобой на шумной улице, я надеюсь, что ты не будешь одинока.

I

Адвокат отворил дверь. Терезу Дескейру, стоявшую в коридоре у боковых дверей зала суда, обдало холодом, и она глубоко вдохнула сырой осенний воздух. Она боялась, что на улице ждут любопытные, и не решалась выйти От ствола платана отделился человек в пальто с поднятым воротником, она узнала отца. Адвокат крикнул: «Дело прекратили!» — и повернулся к Терезе:

— Можете выходить, никого нет.

Она спустилась по мокрым ступеням. Маленькая площадь и в самом деле оказалась совсем безлюдной. Отец не поцеловал дочь, даже не взглянул на нее, — он расспрашивал адвоката Дюро, и тот отвечал вполголоса, словно боялся, как бы их не подслушали. До Терезы доносились обрывки разговора:

— Завтра получу официальное уведомление о прекращении дела «за отсутствием состава преступления».

— А тут не может быть каких-нибудь сюрпризов?

— Нет, дело в шляпе, как говорится.

— После показаний моего зятя это стало ясно.

— Ясно... ясно... Всякое случается.

— Ну, раз, по собственному его утверждению, он никогда не считал капель...

— Знаете, Ларок, в делах такого рода показания жертвы...

Раздался голос Терезы:

— Жертвы не было.

— Я хотел сказать — жертвы своей неосторожности.

Оба собеседника повернулись к молодой женщине, зябко кутавшейся в накидку, и мгновение смотрели на ее бледное, ничего не выражавшее лицо. Она спросила, где стоит коляска; оказалось, что отец велел кучеру ждать за городом, на дороге к Бюдо, чтобы не привлекать внимания.

К счастью, темнело теперь рано. Да и добраться туда можно было по самым тихим улицам этого главного города супрефектуры. Тереза шла посередине, спутники — справа и слева от нее; они вновь заговорили между собой, как будто ее тут не было, но так как она, шагая между ними, мешала обоим, они то и дело толкали ее локтями. Тогда она немного отстала и, сняв с левой руки перчатку, стала отрывать мох со старых каменных стен, мимо которых они проходили. Иногда

ее обгонял какой-нибудь рабочий, ехавший на велосипеде, или крестьянская тележка; спасаясь от брызг жидкой грязи, Тереза прижималась к стене. Хорошо было, что сумрак скрывал лица и люди не могли узнать ее. Запах свежеиспеченного хлеба и сырого тумана был для нее не только привычным запахом, разливавшимся вечерами в этом маленьком городке, Тереза находила в нем аромат жизни, наконец-то возвращенной ей; она закрывала глаза, впивая дыхание уснувшей земли и мокрой травы, и старалась не слышать разглагольствований низенького человека с короткими кривыми ногами, который ни разу не обернулся, не взглянул на дочь, — упади она на краю дороги, ни он, ни адвокат Дюро и не заметили бы этого. Теперь они уже не боялись говорить во весь голос.

— Господин Дескейру дал превосходные показания. Но ведь тут еще всплыл рецепт! По существу, речь шла о подлоге... И доктор Педмэ подал в суд жалобу...

— Он взял жалобу обратно...

— Но все-таки... Что за объяснение она дала! Какой-то незнакомый человек передал ей рецепт...

Не столько от усталости, сколько из желания не слышать больше всех этих слов, которыми

оглушали ее много недель, Тереза все замедляла шаг, но расстояние не могло заглушить пронзительный голос отца:

— Сколько раз я твердил ей: «Да придумай ты, несчастная, что-нибудь другое... Придумай что-нибудь другое...»

Действительно, он достаточно твердил ей это, может отдать себе должное. Почему же он все еще волнуется? То, что он называет честью их семьи, спасено, ко времени выборов в сенат никто уже и вспоминать не будет об этой истории. Так думала Тереза, и ей очень хотелось, чтобы эти двое ушли далеко-далеко, но они в пылу спора остановились посреди дороги и все говорили, говорили, жестикулировали.

— Уверяю вас, Ларок, смелость лучше всего: перейдите в наступление, напечатайте статью в воскресном номере «Сеятеля». Если хотите, я могу за это взяться. Заголовок дать энергичный, например «Гнусные слухи»...

— Нет, друг мой, нет! Нет! Да и что отвечать? Ведь совершенно очевидно, что следствие вели спустя рукава, даже не прибегли к экспертизе графологов. Выход, по-моему, только один: молчать и замять дело. Сам я тоже буду действовать, приложу все старания, но в интересах семьи надо

все это замять... надо замять...

Собеседники двинулись дальше, и Тереза не слышала, что ответил адвокат. Она тяжело вздохнула, жадно глотая сырой ночной воздух, как будто ей грозило смертельное удушье, и вдруг ей вспомнилась Жюли Беллад, неведомая ей бабка с материнской стороны; ее лицо осталось Терезе незнакомым; напрасно было бы искать у Лароков или у Дескейру какого-нибудь портрета, дагерротипа или фотографии этой женщины — никто о ней ничего не знал, кроме того, что она ушла из дому. И воображение подсказывало Терезе, что и она тоже могла бы вот так исчезнуть, уйти в небытие, и позднее ее дочка, маленькая Мари, не нашла бы в семейном альбоме образа той, которая произвела ее на свет. А сейчас Мари спит в детской и нынче поздно вечером, приехав в Аржелуз, Тереза войдет к ней, прислушается в темноте к сонному дыханию ребенка, склонится над кроваткой и, словно истомившись от жажды, прильнет губами к дремлющему источнику жизни.

У придорожной канавы стояла коляска с опущенным верхом, свет от ее фонарей падал на крупы поджарой пароконной упряжки. Справа и слева от дороги темной стеной высился лес.

С обоих дорожных откосов первые сосны протягивали навстречу друг другу длинные ветви, переплетались верхушками, и под этим зеленым сводом дорога уходила в таинственный мрак. Сквозь спутанную сеть сосновых веток в вышине проглядывало небо. Кучер смотрел на Терезу с явным любопытством. Она спросила, поспеют ли они на станцию Низан к последнему поезду, и он успокоил ее, но сказал, что все-таки лучше не мешкать.

— Вот задала я вам работы, Гардер. Но это уж в последний раз.

— Больше, стало быть, незачем приезжать?

Она кивнула головой, а кучер по-прежнему не сводил с нее глаз. Неужели всю жизнь ее будут так разглядывать?

— Ну что? Ты довольна?

Отец, казалось, заметил наконец, что она тут. Тереза бросила быстрый, испытующий взгляд на его желчное, землистое лицо; фонари коляски ярко освещали желтоватую седую щетину бакенбардов, окаймлявших его щеки. Она тихо ответила ему:

— Я столько выстрадала... Я совсем разбита...

И она умолкла: зачем об этом говорить? Ведь отец не слушает ее, совсем не замечает. Какое ему

дело до переживаний дочери! Для него важно только одно: его карьера — восхождение к высотам сената, прерванное из-за скандала с Терезой («Все бабы — истерички или идиотки!»). По счастью, она уже не носит фамилии Ларок, теперь она Дескейру. Она избежала суда присяжных, и отец облегченно вздохнул. Но как помешать противникам растравлять его рану? Завтра же он поедет к префекту департамента. Слава богу, владелец газеты «Ланд консерватрис» у него в руках из-за скандальной истории с совращением малолетних... Г-н Ларок подхватил Терезу под локоть.

— Садись скорее, пора ехать.

И тогда адвокат — быть может, с коварным умыслом или просто желая что-то сказать Терезе на прощание — спросил, встретится ли она уже в этот вечер с г-ном Дескейру. Она ответила: «Ну, конечно. Муж меня ждет...» — и только тут, впервые после суда, представила себе, что через несколько часов она переступит порог спальни, где лежит ее муж, еще не совсем оправившийся от болезни, и что ей придется жить множество дней и ночей в тесной близости с этим человеком.

С самого начала следствия она поселилась в доме отца за чертой города и, конечно, не раз

совершала точно такое же путешествие, как сегодня, но тогда она думала только о том, чтобы как можно точнее информировать мужа; перед тем как сесть в коляску, она выслушивала последние наставления Дюро относительно тех ответов, какие должен давать ее муж при новых допросах, и в те дни Тереза не испытывала никаких мучений, никакого чувства неловкости при мысли, что она сейчас очутится лицом к лицу с больным мужем: ведь тогда шла речь не о том, что произошло в действительности, но о том, что важно было сказать или не говорить. Необходимость защиты сближала их, и еще никогда они не были так спаяны, как в те дни, — их объединяла маленькая Мари, плоть от плоти их. Они старательно сочиняли для следователя простую и связную историю, которая могла бы удовлетворить его логический ум. В дни следствия Тереза садилась в тот же самый экипаж, который ждал ее и сейчас, но всякий раз ей тогда хотелось, чтобы поскорее кончилось ее ночное путешествие, а теперь она мечтала о том, чтобы оно длилось бесконечно! Тереза хорошо помнила, что стоило ей тогда сесть в коляску, как ей уже не терпелось очутиться в Аржелузе, а дорогой она припоминала, какие сведения ждет от нее Бернар Дескейру, не по-

боявшийся заявить следователю, что однажды вечером жена рассказала ему, как совсем незнакомый ей человек умолил ее заказать для него по рецепту его врача лекарство, так как сам он уже не смеет показаться в аптеке, потому что должен аптекарю деньги... Но адвокат Дюро считал, что Бернару не следует заходить слишком далеко и уверять, будто ему помнится, как он упрекал жену за такую неосторожность...

Но вот кошмар рассеялся, и о чем же им с Бернаром говорить нынче вечером? Ей так ясно представился затерявшийся в лесу дом, где он ждет ее; она видела в воображении спальню с кафельным полом, низкую лампу на столе среди газет и аптекарских склянок... Во дворе еще заливаются лаем сторожевые псы, которых разбудил подъехавший шарабан, потом они умолкают, и вновь воцаряется торжественная тишина, словно в те ночи, когда она смотрела, как Бернар мучается жестокими приступами рвоты. Тереза старалась вообразить себе первый взгляд, которым они сейчас обменяются. А как пройдет ночь и что будет завтра, и послезавтра, и в следующие дни и недели — в этом доме, где им с Бернаром уже не надо больше придумывать вместе приемлемую версию пережитой драмы.

Теперь между ними будет стоять только то, что произошло в действительности... то, что произошло в действительности... И в паническом страхе Тереза бормочет, повернувшись к адвокату (на самом деле она говорит это для отца):

— Я рассчитываю пробыть несколько дней дома, с мужем. А когда ему станет лучше, вернусь к отцу.

— Ах, так? Ну уж нет, милая моя, нет, нет!

Кучер заерзал на козлах, а Ларок добавил, понизив голос:

— Ты что, совсем с ума сошла? Уйти от мужа в такой момент? Нет уж, будьте теперь неразлучны, будьте неразлучны. Слышишь? До самой смерти...

— Верно, папа. Что это мне в голову взбрело? Значит, ты сам станешь ездить к нам в Аржелуз?

— К чему? Я буду ждать вас у себя, как обычно, по четвергам — в ярмарочные дни. Приезжайте ко мне, как раньше приезжали!

Просто невероятно, что она до сих пор не уразумела, насколько опасно для него и для всех малейшее нарушение приличий. Это смерть! Понятно? Может он положиться на нее? Она причинила своей семье столько неприятностей!..

— Ты будешь делать все, что велит тебе муж.

Думаю, что я выражаюсь совершенно ясно.

И г-н Ларок втолкнул дочь в коляску. Адвокат протянул Терезе руку с трауром под ногтями.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал он от всего сердца, ведь если бы дело пошло обычным ходом, ему это было бы совсем невыгодно: семейство Лароков и Дескейру пригласили бы защитником адвоката Пейрекава из Бордоского судебного округа. Да, да, все хорошо кончилось.

II

Терезе нравился запах прелой кожи, свойственный старым экипажам. Сигареты она забыла, но не очень этим огорчилась, так как терпеть не могла курить в темноте. Фонари освещали откосы дороги, бахрому папоротников, нижнюю часть стволов исполинских сосен. Груды щебня разрывали тень от коляски. Иногда проезжала тележка, запряженная мулами, и мулы сами сворачивали вправо, а задремавший возница даже и не просыпался. Терезе казалось, что она никогда не доберется до Аржелуза, она надеялась, что никогда не доберется; больше часа езды до станции Низан, потом поезд узкоколейки с бесконечными остановками на каждой станции. Сойдет она в Сен-Клере, а оттуда еще десять километров на шарабане (дорога там такая, что ни один автомобиль не решится двинуться по ней ночью). На каждом повороте еще может вмешаться судьба и избавить Терезу от страшной встречи. Словом, опять заговорило воображение, которому она, несомненно, поддалась бы накануне суда, если бы следствие поддержало обвинение, — тогда

Тереза мечтала бы о землетрясении. Она сняла шляпку, прижалась щекой к пахучей кожаной обивке «виктории»; от толчков раскачивалась ее маленькая головка, ее бледное лицо, вся она безвольно отдавалась дорожной тряске.

До этого вечера она жила, как затравленный зверь, но вот пришло спасение, и только теперь она почувствовала безмерную усталость. Ввалившиеся щеки, резко обозначившиеся скулы, полоска тонких губ и великолепный высокий лоб. Словом, у нее лицо обреченного человека. Да, хоть на суде ее и не признали виновной, она обречена на вечное одиночество. Таким очарованием (а раньше она считалась в обществе неотразимой) обладают все, у кого лицо выдает их тайные терзания, жгучую душевную рану, если они не умеют скрывать свои муки. Забившись в угол коляски, Тереза, эта разоблаченная отравительница, едет по ухабистой дороге, проложенной в густой тени соснового бора, и тихонько проводит правой рукой по своему лицу мученицы, заживо сжигаемой на костре. Что скажет ей при встрече муж, после того как своими ложными показаниями он спас ее? Конечно, сегодня он не задаст ей никакого вопроса... Но завтра? Тереза закрывает глаза, потом, открыв их, смотрит вокруг; лошади

идут шагом, и она пытается определить, где она, что это за подъем. Ах, зачем думать о встрече? Может быть, все будет гораздо проще, чем она воображает. Не думать заранее. Заснуть... Почему она уже не в коляске? Стол, накрытый зеленым сукном, за столом какой-то человек. А-а, это следователь... опять он... Но ведь он же прекрасно знает, что дело прекращено. Однако он отрицательно качает головой: дело не может быть прекращено, имеется новый факт. Новый факт? Тереза отворачивается, чтобы враг не видел ее исказившегося лица. «Вспомните хорошенько, сударыня, вы ничего не спрятали во внутренний карман старой пелерины, которую носите теперь только в октябре, когда идете на охоту, стрелять вяхирей? Ничего вы в кармане этой пелерины не забыли?» Отпираться невозможно. Тереза задыхается. Не сводя глаз со своей добычи, следователь кладет на стол пакетик, запечатанный красным сургучом. Тереза могла бы наизусть сказать, что написано на пакетике, а следователь вслух разбирает надпись резким своим голосом:

Хлороформ — 10 граммов
Аконитин — 2 грамма
Дигиталин — 0,2 грамма

Следователь разражается хохотом... Тормоз скрежещет о колесо. Тереза просыпается, полной грудью вдыхает туман (должно быть, начался спуск к Белому ручью). Вот так же в юности ей не раз снилось, что по ошибке ее вторично заставляют сдавать выпускные экзамены, а сейчас она испытывает такое же радостное чувство облегчения, какое приносило ей в те далекие годы пробуждение от страшного сна. Немного беспокоило ее лишь то, что нет официального документа о прекращении дела. «Но ведь ты же знаешь, что сначала известят адвоката...»

Свободна! Чего же еще желать? Теперь для нее будет легче легкого жить возле Бернара. Открыть ему всю душу, ничего не оставив в тени, — вот в чем спасение. Вытащить на свет божий все, что было скрыто, и сделать это не мешкая, нынче же вечером. Решение это переполняет сердце радостью. По дороге в Аржелуз она успеет «подготовиться к исповеди», как говорила ее благочестивая подруга Анна де ла Трав каждую субботу в счастливые дни летних каникул. Милая младшая сестра Анна, невинное создание, какое большое место ты занимаешь во всей этой истории! Самые чистые люди не ведают, в чем они бывают замешаны каждый день, каждую

ночь и какие ядовитые семена прорастают там, где ступали их детские ножки.

Конечно, эта юная школьница была совершенно права, когда твердила своей подружке Терезе, рассудительной насмешнице: «Ты и представить себе не можешь, какое чувство освобождения испытываешь, когда признаешься на духу во всем и получишь отпущение грехов, — все старое сотрется и можно зажить по-новому». И действительно, стоило Терезе решить, что она все скажет, как она и в самом деле почувствовала облегчение: «Бернар все узнает, я все ему скажу...»

А что она ему скажет? «С чего начать признания? Можно ли передать словами это темное сплетение желаний, решений, непредвиденных поступков? Как исповедуются те, кто сознает свои преступления? Но я-то ведь не сознавала свое преступление. Я не хотела сделать то, в чем меня обвиняют. Я сама не знала, чего я хотела Я не знала, к чему ведет неукротимая сила, клокотавшая во мне и вне меня. Сколько же она разрушила на своем пути! Даже мне самой стало страшно...»

Фонарь с коптившей керосиновой лампой освещал побеленную известкой стену железнодорожной станции Низан и стоявшую у дверей тележку. (Какая тьма сгущается вокруг полосы

света!) С поезда, стоявшего на запасном пути, доносились гудки паровоза, похожие на мычание и печальное блеяние. Гардер взял саквояж Терезы и снова впился в нее взглядом. Должно быть, жена велела ему: «Посмотри хорошенько, какая она теперь, поди на ней лица нет...» Тереза безотчетно одарила отцовского кучера прежней своей улыбкой, из-за которой люди говорили: «Право, и не поймешь, хорошенькая она или нет, просто чувствуешь на себе ее обаяние...» Тереза попросила Гардера купить для нее билет — самой ей страшно было пройти к кассе через зал ожидания, где сидели две фермерши: пристроив свои корзинки на коленях, обе они вязали, покачивая головой.

Кучер принес билет, Тереза велела ему оставить сдачу себе. Он притронулся рукой к фуражке, потом сел на козлы и, разобрав вожжи, обернулся в последний раз — поглядеть на дочку своего хозяина.

Состав еще не был сформирован. Когда-то, приезжая летом на каникулы или возвращаясь в город к началу учебного года, Тереза Ларок и Анна де ла Трав радовались долгой остановке на станции Низан. Они закусывали в харчевне яичницей с ветчиной, потом, обняв друг друга

за талию, прогуливались по дороге. Сейчас она такая темная и мрачная, но в те годы, уже отошедшие в прошлое, Тереза видела ее всю белую, залитую лунным светом. Подружки смеялись, глядя на свои длинные, сливавшиеся вместе тени. Разумеется, говорили об учительницах, о подругах; одна защищала свой монастырский пансион, другая — свой лицей. «Анна!» — громко произнесла в темноте Тереза. Прежде всего надо рассказать Бернару об Анне... Но ведь Бернар обожает точность. Он педантически классифицирует все чувства, каждое рассматривает отдельно и знать не желает, какая сложная сеть путей, переходов и переплетений существует меж ними. Как же ввести его в те туманные области, где жила и страдала Тереза? А ведь это необходимо. Остается только одно: сегодня вечером войти к Бернару в спальню, сесть у его постели и повести его за собой шаг за шагом, пока он не остановит ее и не скажет: «Теперь я понял. Встань. Я прощаю тебя».

Она прошла в темноте через садик начальника станции, услышала запах хризантем, но самих цветов не могла различить. В купе первого класса никого не было. Впрочем, при свете тусклого фонаря ее лица все равно никто бы не разглядел.

Читать невозможно, да и любой роман показался бы Терезе пресным по сравнению с ее ужасной жизнью. Может быть, она умрет от стыда, от тоски, от угрызений совести, от усталости, но только уж не от скуки.

Она забилась в угол, закрыла глаза. Да неужели такая умная женщина, как она, не сможет рассказать всю эту драму так, чтобы суть ее стала понятной? Да, да. Когда она кончит, Бернар поднимет ее и скажет: «Иди с миром, Тереза, не тревожься больше. Мы будем жить в Аржелузе, в этом самом доме, до самой своей смерти, и никогда между нами не встанет то, что произошло. Мне хочется пить. Спустись сама в кухню, приготовь мне стакан оранжада. Я выпью его залпом, даже если он окажется мутным. Я не испугаюсь, если у него будет странный привкус, как у того шоколада, который я когда-то пил по утрам. Помнишь, любимая, как у меня поднималась рвота? Милыми своими руками ты поддерживала мне голову, не отводила взгляда от зеленоватой жидкости, извергаемой моим желудком, приступы рвоты не пугали тебя. Но как ты была бледна в ту ночь, когда я заметил, что у меня онемели и отнялись ноги! Меня бил озноб, помнишь? А этот болван доктор Педмэ поражался, что температура

у меня очень низкая, а пульс такой частый...»

«Ах, нет, — думает Тереза, — он не поймет. Надо начать с самого начала...» А где начало наших поступков? Наша судьба, когда мы хотим обособить ее, подобна тем растениям, которые невозможно вырвать из земли вместе со всеми корнями. Может быть, Терезе надо начать с детства? Но ведь и само детство — это некий конец, завершение.

Детство Терезы — чистый, светлый исток самой мутной из рек. В лицее она казалась ко всему равнодушной, словно и не замечала мелких драм, терзавших ее подруг. Учительницы часто ставили им в пример Терезу Ларок: «Тереза не ищет иной награды, кроме радостного сознания, что ее можно считать олицетворением высоких человеческих чувств. Совесть — вот ее единственная путеводная звезда. Гордая мысль, что она принадлежит к избранным натурам, поддерживает ее надежнее, чем страх перед наказанием...» Так высокопарно говорила о ней одна из учительниц. Тереза думает: «А была ли я счастлива? Была ли я так чиста сердцем? Вся моя жизнь до замужества предстает передо мной как свет и чистота, — несомненно, по контрасту с неизгладимой грязью брачной ночи. Лицей и все, что предшествовало супружеству и рождению

ребенка, кажется мне теперь раем. Но тогда я этого не сознавала. Могла ли я знать, что в те годы, когда еще не начиналась моя жизнь, я как раз жила подлинной жизнью? Да-да, я была чиста, да, я была ангелом! Но ангелом, исполненным страстей. Что бы там ни говорили мои учительницы, а я страдала и доставляла страдания другим. Я радовалась, что могу причинить кому-нибудь боль, и радовалась боли, которую причиняли мне мои подруги. Страдания наши были очень чисты, никакие угрызения совести не примешивались к ним: наши горести и радости доставляли нам невинные развлечения».

А как приятно было Терезе сознавать, что она нисколько не хуже Анны, с которой они встречались в летние месяцы под дубами Аржелуза. Тогда она могла говорить этой девочке, воспитанной монашками Сакре-Кёр: «Чтобы быть такой же чистой, как ты, мне не нужны все эти ваши ладанки и бормотание молитв». Да и чистота Анны де да Трав проистекала главным образом из неведения. Монахини-воспитательницы накидывали множество покровов на реальную действительность, скрывая ее от своих воспитанниц. Тереза их презирала за то, что они не видят разницы между добродетелью и неведением. «Ты, дорогая,

жизни не знаешь», — говорила она Анне в те далекие, такие уже далекие дни чудесных летних каникул в Аржелузе... И вот, думая о них в поезде узкоколейки, который тронулся наконец, Тереза говорит себе, что именно с воспоминаний об этих днях ей и нужно начать, если она хочет во всем разобраться. Невероятно, но это так — светлая заря нашей жизни уже чревата самыми страшными грозами. «Небо голубое поутру — будет буря днем иль ввечеру». А после бури увидишь развороченный ливнем цветник, сломанные ветки и грязь. Когда-то Тереза жила, ни о чем не задумываясь, ничего не загадывала, на жизненном ее пути не было никаких крутых поворотов, она незаметно спускалась по склону, сначала медленно, потом все быстрее. И вот юное, жизнерадостное существо, каким она была в те далекие дни летних каникул, стало погибшей женщиной, которая возвращается нынче осенним вечером в тот же Аржелуз, возвращается крадучись, под покровом темноты.

Как она устала! Зачем отыскивать тайные пружины того, что уже совершилось? В оконном стекле отражается ее лицо, бледное, неподвижное, как у мертвой, а за окном ничего не видно; колеса стучат по рельсам уже по-другому, паро-

воз дает долгий гудок, поезд осторожно подходит к станции. В темноте покачивается фонарь в чьей-то поднятой руке, какие-то люди перекликаются, выкрикивают что-то на местном диалекте, пронзительно визжат выгружаемые из вагона поросята. Это станция Юзест. А дальше — Сен-Клер, а оттуда придется ехать до Аржелуза в шарабане. Так мало времени осталось у Терезы, чтобы подготовиться к своей защите.

III

Аржелуз поистине стоит на краю света, дальше уж ни проехать, ни пройти. Местные жители называют его «околоток»: тут нет ни церкви, ни мэрии, ни кладбища — просто несколько ферм, разбросанных вокруг ржаного поля; находится он в десяти километрах от маленького городка Сен-Клер, с которым его соединяет единственная и притом ужасная дорога. Вся в выбоинах и ямах, она за Аржелузом разделяется на песчаные тропинки, и до самого океана, на протяжении восьмидесяти километров, увидишь только болота, лагуны, чахлые сосны, дюны, где пасутся овцы, у которых шерсть становится пепельно-серого цвета к концу зимы. Все видные семьи Сен-Клера — выходцы из этого глухого околотка. В середине прошлого века, когда сосновая смола и древесина стали давать прибыль вдобавок к тем скудным доходам, какие жители Аржелуза получали от своих овечьих отар, деды нынешней знати Сен-Клера переселились в этот городок, а их прежние жилища в Аржелузе стали фермами. Резные балки потолка да кое-где сохранившиеся

мраморные камины свидетельствуют об их барском происхождении. Но с каждым годом дома эти все больше оседают, и кое-где широкая стреха обвисшей крыши почти уже касается земли.

Среди этих старых жилищ два еще остались господскими домами. Семейство Ларок и семейство Дескейру сохранили давние постройки в том виде, в каком унаследовали их от своих предков. Жером Ларок, член генерального совета департамента и мэр города Б., главную свою резиденцию имел у въезда в столицу супрефектуры, но ничего не хотел менять в своем аржелузском доме, доставшемся ему от покойной жены (она умерла вскоре после рождения Терезы, оставив ее грудным младенцем). Г-н Ларок не удивлялся, что дочь его любит проводить в Аржелузе летние каникулы. Она приезжала в июле и жила там под надзором тети Клары, старшей сестры отца, глухой старой девы, тоже любившей «этот уединенный уголок», потому что здесь, по ее словам, она не видит, как все время шевелятся чьи-то губы, и знает, что и слышать тут нечего, кроме шума ветра в сосняке. Г-н Ларок радовался, что Аржелуз, избавлявший его от присмотра за дочерью, сближает ее с Бернаром Дескейру, за которого ей предстояло выйти замуж, как

того желали оба семейства, хотя их соглашение еще не носило официального характера. Бернар Дескейру получил в наследство от отца дом в Аржелузе, стоявший рядом с домом Лароков; правда, он там не появлялся до дня открытия охоты и оставался ночевать только в октябре, так как устроил себе неподалеку «хижинку», куда переселялся во время охоты на вяхирей. Зиму этот рассудительный юноша проводил в Париже, где учился на юридическом факультете. Летом он не много дней посвящал семье, так как ненавидел своего отчима Виктора де ла Трав, за которого г-жа Дескейру, овдовев, вышла замуж, хотя у него за душой не было гроша ломаного, а его мотовство служило предметом толков всего Сен-Клера. Анна де ла Трав, сводная сестра Бернара, казалась ему маленькой девочкой, не заслуживающей никакого внимания. Много ли больше думал он о Терезе? Весь край считал, что они с Бернаром должны пожениться, так как их владения, казалось, были просто созданы для того, чтобы соединиться, и благоразумный юноша был согласен с этим всеобщим мнением. Но он ничего не оставлял на волю случая и полагал, что умение хорошо наладить свою жизнь — великое достоинство, которым можно гордиться. «Че-

ловек бывает несчастен только по своей вине», — говорил он. Несмотря на молодость, он был довольно толстым. До женитьбы он отводил одинаковое место труду и удовольствиям; он любил и хорошо поесть, и выпить, а главное, любил охоту. Но зато и занимался он юриспруденцией «как одержимый», по выражению его матери, — ведь муж должен быть выше жены по образованию. Тереза и в юности славилась своим умом, а ум, как известно, ведет к вольномыслию. Но Бернар знал, чем можно урезонить женщину, и к тому же совсем было бы неплохо, как его убеждала мать, заручиться поддержкой в лагере вольнодумцев, и г-н Ларок, отец Терезы, мог быть ему полезен. Итак, в двадцать шесть лет Бернар Дескейру после путешествий в Италию, Голландию и Испанию, «заранее солидно изученных», должен был жениться на Терезе Ларок, самой богатой и самой умной девушке во всем крае, пусть даже и не самой хорошенькой. («Но как ее увидишь, сразу подпадаешь под ее обаяние, не замечая, хорошенькая она или дурнушка».)

Тереза даже улыбнулась, таким карикатурным предстал в ее воображении Бернар, произносивший эти слова. «Но, в сущности, он был гораздо развитее большинства возможных для меня

женихов». В ландах[1] женщины куда тоньше мужчин — ведь мужчины со школьной скамьи общаются только между собой и душевной тонкости не приобретают; их сердце навсегда отдано ландам, мыслями они всегда в ландах, для них ничего не существует, кроме удовольствий, какие им предоставляют ланды; им казалось бы не только разлукой с родным краем, но изменой ему, если бы они перестали походить на своих фермеров, не говорили бы на местном диалекте, отказались бы от грубых манер и диких повадок. А разве у Бернара под этой грубой оболочкой нет своего рода доброты? Когда он был почти что при смерти, фермеры говорили: «Как не станет его, то уж больше не найдешь здесь настоящего хозяина». Да, есть у него и доброта, и здравый смысл, и добросовестность, он никогда не говорит о том, чего не знает, не переоценивает своего ума и способностей. Юношей этот неотесанный Ипполит был недурен собой, но предпочитал не гоняться за девушками, а травить зайцев в ландах.

Однако совсем не его видит Тереза, прижав-

[1] Примечания: 1

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100-150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7-8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

шись лбом к окошку вагона и закрыв глаза, не он, равнодушный жених, возникает перед ее мысленным взором, не Бернар, а его младшая сестренка Анна: вот она с раскрасневшимся личиком катит на велосипеде в прежние, далекие дни из Сен-Клера в Аржелуз в девятом часу утра, пока еще не настал самый зной, но уже цикады искрами перелетают от сосны к сосне и под чистейшим небом земля уже начинает обдавать жаром, как раскаленная печь, где гудит яркое пламя. Тучи мошкары поднимаются над высокими зарослями вереска. «Накинь на плечи пелеринку, а то у нас в гостиной холодно, как в погребе», — говорила Тереза, а тетя Клара добавляла: «Деточка, я, конечно, дам вам попить холодненького, но только немного погодя, когда вы остынете, вы ведь вся в поту». Анна выкрикивала глухой тете Кларе слова приветствия. «Да ты не надрывайся, милочка, она все по губам понимает...» Но Анна старательно выговаривала каждое слово, искривляя во все стороны свой маленький ротик. Тетушка отвечала невпопад, и наконец подружки, не выдержав, убегали в сад, чтобы посмеяться на свободе.

В тесном купе Тереза вспоминает эти дни своей юности, такие чистые, но исполненные неизъяснимого, трепетного блаженства, когда еще

неведомо было, что эти сияющие отблески радости — единственная ее доля счастья на земле. Ничто, ничто не предвещало, что не будет у нее в жизни более светлых минут, чем те, которые она проводила в разгар жаркого лета в темной гостиной, на старом диване, обитом красным репсом, сидя рядом с Анной, когда та рассматривала фотографии в альбоме, поддерживая его коленями. Откуда же приходило тогда счастье? Разве было хоть малейшее сходство во вкусах Анны и Терезы? Анна терпеть не могла читать, любила только шить, болтать всякий вздор и смеяться. Ни о чем она всерьез не думала. А Тереза с жадностью поглощала и романы Поль де Кока, и «Беседы по понедельникам» Сент-Бёва, и «Историю консульства» Тьера — словом, все, что валялось в стенных шкафах загородного дома. Ничего общего во вкусах, и только в одном были они единодушны: обеим очень нравилось быть вместе в эти знойные летние дни, когда приходилось укрываться от огня небесного в полумраке комнат. Иной раз Анна вставала посмотреть, спадает ли жара. Но едва она приоткрывала ставни, солнечный свет врывался, как струя расплавленного металла, и как будто загоралась циновка на полу, и вновь приходилось все закрывать,

прятаться от жгучих лучей.

Даже к вечеру, когда солнце только понизу окрашивало в красный цвет стволы сосен и последний кузнечик неистово стрекотал у самой земли, под дубами стояла жара. Подруги усаживались у кромки ржаного поля, словно на берегу озера. Принимая переменчивые образы, над ними скользили грозовые облака; пока Тереза успевала разглядеть крылатую женщину, которую Анна увидела в небе, растаявшее видение вытягивалось в какого-то страшного зверя.

В сентябре уже можно было после полдника выйти из дому, побродить по безводному, жаждущему краю — в Аржелузе нет ни одного ручейка, нужно долго идти среди песков, пока не доберешься до истоков речки под названием Юр. Она рождается из множества родников, которые бьют в узких травянистых ложбинках среди корней ольхи. В их ледяной воде босые ноги коченели, но стоило ступням обсохнуть, их снова обжигала земля. Одна из тех «хижинок», где в октябре прячутся охотники, подстерегая вяхирей, служила Терезе и Анне убежищем от жары, не менее приятным, чем темная гостиная. Говорить им было не о чем, да и не хотелось говорить, они не обменивались ни единым словом; одна за другой

проносились минуты этих долгих невинных привалов, девушки не двигались, словно боялись пошевелиться, как охотник, когда он услышит подлетающую стаю и подает спутникам знак: «Тише!» И обеим подругам казалось, что от малейшего жеста рассеется неясное и такое чистое ощущение счастья. Первой, очнувшись от дремоты, выходила из хижины и потягивалась Анна, ей не терпелось пострелять на закате солнца жаворонков. Тереза не выносила этой забавы, но шла вслед за подругой, не могла с ней расстаться. Анна снимала с гвоздя охотничье ружье, которое не отдавало при выстреле. Стоя на косогоре, Тереза смотрела, как охотница, забравшись в рожь, как будто целится в солнце, намереваясь его погасить. Тереза затыкала себе уши. Короткая ликующая трель обрывалась в синеве, и охотница подбирала раненого жаворонка, осторожно сжимала его в ладонях и, лаская губами перышки, вдруг душила его.

— Завтра приедешь?

— Ну что ты! Не каждый же день!

У Анны не было желания видеться с подругой ежедневно. На ее разумный ответ нечего было возразить. Даже самой Терезе не приходило в голову спорить, раз Анна предпочитает видеть-

ся реже. Конечно, ничто бы ей не помешало приезжать каждый день, но зачем встречаться очень уж часто. «Так в конце концов можно и опротиветь друг другу», — говорила она. Тереза отвечала: «Да... да... Главное, не насилуй себя, приезжай, только когда захочется, когда не будет ничего лучшего». Тоненькая, полудетская фигурка исчезала вдали, на темной уже дороге слышался дребезжащий звонок велосипеда.

Тереза возвращалась домой; фермеры издали кланялись ей, дети к ней не подходили. В этот час овцы вразброд паслись под дубами, и вдруг вся отара пускалась бежать, а пастух орал на них. Тетя Клара, поджидавшая племянницу на крыльце, по обыкновению глухих людей, начинала говорить, говорить без умолку, для того чтобы не заговорила Тереза. Отчего становилось так тоскливо? Читать не хотелось, ничего не хотелось делать, и Тереза вновь отправлялась побродить. «Не уходи далеко, скоро ужин». Тереза выходила на дорогу, там было пустынно до самого горизонта. У порога кухни начинал звякать колокол. Пожалуй, уже пора и лампу зажигать. Тетя Клара неподвижно сидела за столом, положив крест-накрест руки на скатерть, и для этой глухой старухи тишина была столь же глубокой, как и для юной

дикарки Терезы.

Бернар, Бернар, как ввести тебя в этот неясный мир, тебя, принадлежащего к породе слепцов, к безжалостной породе все упрощающих людей? «Нет, — думает Тереза, — он с первых же слов прервет меня: "Почему же вы вышли за меня замуж? Я ведь не бегал за вами..."». В самом деле, почему она вышла за него? Он действительно не проявлял нетерпения. Тереза хорошо помнила, как мать Бернара, во втором браке г-жа де ла Трав, сообщала всякому встречному и поперечному: «Он прекрасно мог бы подождать, но она сама этого захотела, да, сама захотела. У нее, к сожалению, не такие принципы, как у нас, она, например, курит, дымит, как паровоз, это ее стиль. А все-таки характер у нее прямой, открытый, правдивый. Мы быстро привьем ей здоровые взгляды. Конечно, не все нам по душе в этом браке... Да, да... Вот, например, эта Беллад, ее бабка с материнской стороны... мы же знаем... Но ведь все это уже позабылось, верно? Дело тогда замяли, не довели до скандала. Скажите, пожалуйста, вы верите в наследственность? У ее отца, разумеется, дурной образ мыслей, но поведение самое похвальное, прямо святой человек. Дочери он всегда подавал только хорошие примеры. К

тому же и связи у него большие, они всегда могут пригодиться. И, наконец, надо же на некоторые вещи закрывать глаза. А кроме того — хотите верьте, хотите нет, — Тереза богаче нас. Просто невероятно, но это так! Да еще она преклоняется перед Бернаром, а это не повредит...»

Да, она преклонялась перед Бернаром, это ей давалось без труда. При встречах в Аржелузе — в гостиной или под дубами, у кромки ржаного поля — ей стоило только вскинуть на него глаза, а уж он умел вызвать в ее взгляде выражение простодушной влюбленности. Видеть у своих ног такую добычу Бернару было, конечно, лестно, но это не удивляло его. «Не играй, пожалуйста, с ней, — твердила мать, — она томится».

«Я вышла за него замуж из-за того, что...» Нахмурив брови, закрыв ладонью глаза, Тереза старается вспомнить. Во-первых, сыграла роль ребяческая радость, что благодаря этому браку она станет невесткой Анны. Но радовало это главным образом самое Анну, Тереза же такие родственные связи не ставила ни во что. По правде говоря (чего тут стыдиться?), для нее было не безразлично, что у Бернара имение в две тысячи гектаров. Страсть к собственности была у нее в крови. В отцовском доме, когда после долгих тра-

пез убирали со стола посуду и подавали спиртные напитки, Тереза зачастую оставалась в обществе мужчин и с интересом слушала их разговоры о фермах, о фермерах, о крепежном лесе, сосновой смоле и скипидаре. Ее увлекали цифры, подсчеты. Несомненно, ее соблазняла мысль сделаться хозяйкой таких больших сосновых лесов. «Впрочем, и он тоже влюбился в мои сосны». Но, может быть, в Терезе говорило более смутное чувство, которое она сейчас пытается определить: быть может, она искала в браке не столько материального могущества, богатства, сколько убежища. Что толкнуло ее на этот брак, как не чувство страха? Юная, но практичная девушка, с детства приученная к хозяйству, она поспешила войти в подобающий для нее круг, занять в нем раз и навсегда определенное место. Она хотела укрыться от какой-то невидимой опасности. Никогда она не казалась такой рассудительной, как в пору ее помолвки с Бернаром, она стремилась вступить в семейный клан, «устроиться», войти в добропорядочный мирок, спасти себя.

В ту весну, когда их обручили, они ходили гулять по песчаной тропе, которая вела от Аржелуза к Вильмежа. На дубах еще держались засохшие листья, темными пятнами пачкавшие небесную

лазурь, побуревший прошлогодний папоротник приникал к земле, а из нее уже пробивались штыки новых побегов ядовито-зеленого цвета. Бернар говорил: «Будьте осторожны, не бросайте сигарету, может случиться пожар — в ландах совсем не осталось воды». Тереза спрашивала: «А правда, что в папоротнике есть синильная кислота?» Бернар не знал, достаточно ли ее в папоротнике, чтобы отравиться. И ласково говорил: «Уж не хочется ли вам умереть?» Тереза смеялась. Он сказал, что ей надо быть проще. Терезе вспомнилось, как она закрыла глаза, а две большие руки сжали ее голову и низкий голос шепнул ей на ухо: «В этой головке, верно, есть еще и другие ложные мысли?» Она ответила: «Вы их изгоните, Бернар». Они с любопытством смотрели, как работают каменщики, которые делали пристройку к ферме Вильмежа. Владельцы ее, проживавшие в Бордо, предназначали эту ферму в качестве летней резиденции для своего сына, у которого была «слабая грудь». Сестра его умерла от той же болезни. Бернар презирал этих Азеведо. «Они клянутся и божатся, будто они не евреи... А стоит только посмотреть на них! Да еще все страдают чахоткой и прочими недугами». На душе у Терезы было спокойно. Скоро, к свадьбе,

из монастыря Сен-Себастьян приедет Анна. Она должна вместе с сыном помещика Дегилема собирать пожертвования во время венчания. Анна просила Терезу ответить ей «с обратной почтой» и описать в письме, как будут одеты другие подружки невесты: «Нельзя ли прислать образчики тканей? Ведь в наших общих интересах выбрать такие тона, чтобы они гармонировали друг с другом...» Никогда еще Тереза не испытывала такого душевного покоя, ей казалось, что это покой, а на самом деле то была дремота, сонное оцепенение ядовитого гада, таившегося в ее груди.

IV

Свадьба состоялась в Сен-Клере, в тесной церкви, где болтовня дам заглушала одышливую фисгармонию, а их крепкие духи перекрывали запах ладана, и в этот знойный день Тереза почувствовала, что она погибла. Она, как лунатик, вошла в клетку и вдруг очнулась, когда громыхнула и захлопнулась тяжелая дверь. Ничего как будто не изменилось, но она поняла, что отныне уже не может погибнуть одна. В густой чаще семейных устоев и правил она будет подобна тлеющему огню, который ползет под зарослями вереска, охватывает пламенем одну сосну, потом другую, перекидывается с дерева на дерево, и вот уже пылает целый лес исполинских факелов. В толпе гостей не было ни одного лица, на ком хотелось бы остановить свой взгляд, — только Анна. Но детская радость младшей подружки стеной отделила ее от Терезы. Чего она радуется? Она не ведает, что нынче вечером их разлучит не только расстояние, но также и то, что Тереза стояла на грани мучений, ее отделяло то непоправимое, что должно было испытать ее невинное тело. Анна

останется на том берегу, где пребывают чистые существа, Тереза смешается с толпой тех женщин, которые изведали все. Вспомнилось, что в ризнице, когда она наклонилась поцеловать Анну, поднявшую к ней смеющееся личико, перед ней вдруг возникла бездна, вокруг которой она, Тереза, создавала целый мир туманных печалей и туманных радостей; в несколько мгновений ей открылось безмерное различие между темными силами, бурлившими в ее сердце, и простодушной, милой мордочкой, испачканной пудрой.

Еще долго после этого дня и в Сен-Клере, и в городе Б. люди, толкуя об этой свадьбе Гамаша[2] (больше сотни фермеров и слуг пировали под дубами), всегда вспоминали, что новобрачная — «хоть и не красавица, но зато само обаяние» — всем показалась в этот день некрасивой, даже страшной. «Она сама на себя не походила, совсем другая стала... Люди видели только то, что внешность ее изменилась, и винили в этом белое подвенечное платье, которое было ей не к лицу, винили жару, — они не распознали, что видят ее истинное лицо.

В день этой полудеревенской, полугосподской

---

[2] Примечания: 2

Имеется в виду описанная в «Дон-Кихоте» Сервантеса пышная свадьба богатого крестьянина Гамаша.

свадьбы вечером группы гостей, расцвеченные яркими платьями девушек, преградили дорогу автомобилю новобрачных и проводили их шумными приветствиями. На дороге, усеянной цветами белой акации, они обгоняли выписывавшие зигзаги тележки, в которых лошадьми правили подвыпившие крестьяне. Вспомнив о той ночи, что последовала за свадьбой, Тереза шепчет:

— Это было ужасно... — Потом спохватывается. — Да нет... не так-то ужасно...

А разве она очень страдала во время их путешествия на итальянские озера? Она играла в сложную игру «не выдавай себя». Жениха обмануть нетрудно, но мужа!.. Кто угодно может произносить лживые слова, но ложь тела требует иной науки. Не всякому удастся изображать желание, наслаждение, блаженную усталость. Тереза сумела приучить свое тело к такому притворству и черпала в этом горькую усладу. В мире неведомых ей ощущений, в который мужчина принуждал ее проникнуть, она с помощью воображения допускала, что там и для нее, возможно, есть счастье, но какое оно? Перед ней словно был пейзаж, затянутый густой сеткой дождя, и она старалась представить себе, каким он был бы при

ярком солнце, — вот так Тереза открывала, что такое страсть.

И как легко было обмануть Бернара, ее спутника с пустым взглядом, всегда обеспокоенного тем, что номера картин, выставленных в музеях, не соответствуют указаниям путеводителей, довольного тем, что он в кратчайший срок увидел все, что полагалось посмотреть. Он весь уходил в наслаждение, как те очаровательные поросята, на которых забавно смотреть, когда они, хрюкая от удовольствия, бросаются к корыту. («Я стала этим корытом», — думает Тереза.) У него был такой же, как у них, торопливый, деловой, серьезный вид и такая же методичность. «А разве так можно? Разве это хорошо?» — осмеливалась иногда спросить изумленная Тереза. Он, смеясь, успокаивал ее. Где он научился классифицировать все, что касалось плотских утех, различать ласки, дозволенные порядочному человеку, от повадок садиста? Тут он никогда не проявлял ни малейшего колебания. Однажды вечером в Париже, где они остановились на обратном пути, Бернар демонстративно покинул Мюзик-Холл, возмущаясь спектаклем, который там давали: «И подумать только, что иностранцы видят эту мерзость! Какой позор! А ведь по таким зрелищам они судят о нас!..» Тере-

зу поразило, что этот стыдливый человек через какой-нибудь час заставит ее терпеть в темноте его мучительные изобретения.

«Бедняга Бернар, а ведь он не хуже других. Но вожделение превращает человека, приближающегося к женщине, в чудовище, совсем на этого человека не похожее. Ничто так не отдаляет нас от нашего сообщника, как его чувственное исступление. Я видела, как Бернар утопает в пучине похоти, и вся замирала, как будто этот сумасшедший, этот эпилептик при малейшем моем движении мог удушить меня. Чаще всего уже на грани последнего наслаждения он вдруг замечал, что остается тут одинок; мрачное неистовство прерывалось: Бернар отступал, чувствуя, что я, будто отброшенная волной на берег, лежу, стиснув зубы, холодная, ледяная».

От Анны пришло только одно письмо — она очень не любила писать, но каким-то чудом каждое ее слово было приятно Терезе: ведь в письмах мы выражаем не столько подлинные наши чувства, сколько те, какие должны испытывать, чтобы доставить удовольствие адресату. Анна жаловалась, что она не может больше ездить на велосипеде в сторону Вильмежа — теперь там живет молодой Азеведо, она лишь издали видела

его шезлонг, стоявший в папоротниках, — чахоточные внушают ей ужас.

Тереза несколько раз перечитывала это письмо и не ждала от Анны других вестей, поэтому она была очень удивлена, когда на другой день после прерванного посещения Мюзик-Холла в обычный час доставки почты увидела на трех конвертах почерк Анны де ла Трав. Отделы «до востребования» разных почтамтов переправили супругам Дескейру в Париж целую пачку писем, так как путешественники не останавливались в некоторых городах, торопясь «вернуться в свое гнездышко», как говорил Бернар, а в действительности по той причине, что они уже не могли постоянно быть вместе: муж изнывал от скуки без своих охотничьих ружей, без своих собак, без деревенской харчевни, где подавали «удивительно приятное кисленькое винцо, какого нигде не найдешь»; а тут еще эта женщина, такая насмешливая, холодная, явно не испытывающая никакой радости на супружеском ложе и не желающая говорить об интересных вещах!.. А Терезе хотелось поскорее вернуться в Сен-Клер — так осужденному, томящемуся в пересыльной тюрьме, любопытно бывает посмотреть на тот остров, куда его сослали на вечную каторгу. Тереза с

трудом разобрала на каждом из трех конвертов дату, обозначенную почтовым штемпелем, и уже хотела было распечатать самое давнее письмо, как вдруг Бернар издал глухое восклицание и крикнул ей что-то — слов она не расслышала: окно было отворено, и как раз на этом перекрестке автобусы с ревом меняли скорость. Бернар отложил бритву и углубился в чтение письма матери. Тереза, как сейчас, видит его летнюю рубашку с короткими рукавами, обнаженные мускулистые руки, до странности белые, и внезапно побагровевшие шею и лицо. В это июльское утро уже стояла удушливая жара, солнце, сиявшее в закопченном небе, подчеркивало, как грязны видневшиеся перед балконом фасады старых домов. Бернар подошел к Терезе и крикнул:

— Ну это уж просто безобразие! Хороша твоя любимица! Ну и Анна! Кто бы мог подумать, что моя сестрица выкинет такую штуку!..

И в ответ на вопрошающий взгляд Терезы сказал:

— Представь себе, влюбилась в молодого Азеведо! Да, влюбилась в этого чахоточного юнца, для которого родители сделали пристройку в Вильмежа... И, кажется, дело тут серьезное... Она заявляет, что дождется своего совершеннолетия и

выйдет за возлюбленного... Мама пишет, что девчонка совсем сошла с ума. Только бы Дегилемы не узнали. А то молодой Дегилем, чего доброго, пойдет на попятный и не посватается! Ты получила письма? Это от нее? Ну, сейчас все узнаем. Распечатай поскорее.

— Хочу прочесть все три письма по порядку. И к тому же я не собираюсь показывать их тебе.

Даже тут сказался ее характер — вечно она все усложняет. Но, в общем, важно только одно — чтобы она образумила девчонку.

— Мои родители рассчитывают на тебя, ты ведь имеешь огромное влияние на Анну. Да-да, не спорь. И они ждут тебя как свою спасительницу.

Пока Тереза одевалась, он пошел отправить телеграмму и заказать два билета на Южный экспресс. Терезе он посоветовал начать укладываться.

— Да почему ты не читаешь письма этой дурочки?

— Жду, когда ты уйдешь.

Еще долго после того, как он затворил за собой дверь, Тереза лежала на диване и курила, уставясь глазами в золотые, но уже потускневшие буквы большой вывески, укрепленной на балконе противоположного дома. Наконец она

разорвала первый конверт. Нет-нет, не может быть, чтобы это писала ее маленькая глупенькая Анна, воспитанница монастырского пансиона, ограниченная девочка! Разве могли из-под ее пера вырваться такие пламенные слова! Нет, не могла из ее черствого сердца — а ведь Тереза догадывалась, что у Анны черствое сердце — излиться эта Песнь Песней, эта исполненная счастья жалоба женщины, захваченной страстью, умирающей от восторга при первом любовном прикосновении.

> «...Когда я его встретила, то просто не могла поверить, что это он: ведь он бегал, играя с собакой, он весело кричал. Нельзя было и вообразить, что это тяжелобольной человек. Конечно, он вовсе не болен, родные просто стараются поберечь его, потому что в их семье были трагические случаи. Он даже не кажется хрупким, а скорее худеньким. И знаешь, он привык, чтобы его баловали, лелеяли. Ты меня не узнала бы: ведь это я приношу и накидываю ему на плечи пелерину, когда спадает жара...»

Если бы Бернар вернулся в эту минуту и вошел в номер, он удивился бы, увидев свою жену,

сидевшую на постели, — это была какая-то незнакомка, странная, не похожая на Терезу женщина. Она нервно бросила сигарету, разорвала второй конверт.

«...Я буду ждать сколько понадобится, меня не запугают никакими запретами, моя любовь их и не чувствует. Меня теперь не выпускают из Сен-Клера, но ведь Аржелуз не так-то от него далеко, и мы с Жаном прекрасно можем встречаться. Помнишь нашу с тобой охотничью хижинку? Выходит, что это ты, дорогая, заранее выбрала место, где мне довелось испытать такое счастье. Только ты, пожалуйста, не подумай, будто мы делаем что-то дурное. Он такой деликатный. Ты и понятия не имеешь о юношах, подобных ему. Он много учился, много читал (так же, как ты), но у молодого человека это не раздражает меня, и мне ни разу не приходило желания поддразнить его. Ах, как бы я хотела быть такой же ученой, как ты! Душенька моя, как ты, должно быть, наслаждаешься теперь, когда изведала блаженство, мне еще незнакомое, и как

же должно быть велико это блаженство, если я вся трепещу, едва приближаюсь к нему! Когда мы с Жаном встречаемся в охотничьей хижине (той самой, в которую ты приносила с собой наш полдник), когда он обнимает меня и рука его замирает на моей груди, а я прикладываю ладонь к его груди — там, где бьется сердце (он называет это "последней дозволенной лаской"), меня охватывает чувство счастья, такого осязаемого, что, право, я, кажется, могла бы потрогать его. И все же мне думается, что за пределами этой радости есть что-то, какая-то иная радость. И когда Жан, весь бледный, уходит, воспоминание о наших ласках, ожидание того, что будет завтра, опьяняет меня, и я бываю глуха к жалобам, мольбам и оскорблениям моих близких, — ведь эти жалкие люди не знают и никогда не знали... Прости меня, дорогая, я говорю тебе о счастье, как будто и ты еще не познала его; но ведь я совсем новичок по сравнению с тобой, и я уверена, что ты будешь за нас с Жаном — против наших мучителей».

Тереза разорвала третий конверт, в нем была короткая, наспех набросанная записка:

> «Приезжай скорей, дорогая. Они нас разлучили, меня стерегут. Они воображают, что ты встанешь на их сторону. Я им сказала, что положусь на твое суждение. Сейчас я тебе все объясню: он не болен... Я счастлива и страдаю. Я счастлива, что страдаю из-за него, и радуюсь его страданиям, — ведь они доказывают, что он любит меня...»

Дальше Тереза не стала читать. Всовывая листок обратно в конверт, она обнаружила там не замеченную прежде фотографию. Подойдя к окну, она стала пристально вглядываться в снимок, запечатлевший юношу с такими густыми волосами, что голова его казалась слишком большой. Тереза узнала на снимке то место, где он был сделан: знакомый пригорок, где Жан Азеведо стоял, гордо выпрямившись, подобно библейскому Давиду (позади простирались ланды, где паслись овцы). Куртку он перекинул через руку, ворот рубашки был расстегнут... («Он называет это "последней дозволенной лаской"...») Тереза подняла глаза и удивилась, увидев в зеркале

выражение своего лица. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы разжать стиснутые зубы, проглотить слюну. Она смочила одеколоном лоб и виски. «Итак, Анна изведала счастье любви... А что же я? А как же я? Почему не я?» Фотография осталась на столе, рядом блестела булавка...

«Я это сделала... Да, сделала...» В тряском поезде, вдруг ускорявшем ход на спусках, Тереза твердит про себя: «Да, я так сделала. Два года назад в номере гостиницы я взяла и вонзила булавку в фотографию, в то место, где у человека сердце, и сделала это не в ярости, а спокойно, словно так и полагалось поступить, потом разорвала пронзенную фотографию на клочки, бросила их в уборную и спустила воду».

Вернувшись, Бернар обрадовался, что у жены серьезный вид, словно она поразмыслила без него и выработала план действий. Умная женщина. Только напрасно она так много курит, отравляет свой организм! По мнению Терезы, не стоило придавать большого значения капризам юной девушки. Нетрудно будет ее образумить... Бернару приятно было слышать успокоительные слова, приятно было сознавать, что в кармане у него лежат билеты на обратный путь, а главное, ему льстило, что его родные уже прибегают к

помощи его жены. Он заявил, что сколько бы это ни стоило, но на прощание он непременно свезет жену позавтракать в хорошем ресторане в Булонском лесу. В такси же он без умолку говорил о своих планах на охотничий сезон: ему не терпелось попробовать собаку, которую натаскивал для него в Аржелузе егерь Бальон. Мать пишет, что благодаря прижиганиям его лошадь больше не хромает. В ресторане было еще немного народу; бесчисленная армия официантов внушала им некоторую робость. Тереза до сих пор помнит характерный запах, стоявший в этом ресторане: тут пахло геранью и всякими закусками. Бернар никогда еще не пил рейнвейна: «Вот черт, его тут не держат!» Но что ж поделаешь, ничего, не каждый же день праздник! Широкая спина Бернара закрывала зал от глаз Терезы. За большими зеркальными окнами скользили и останавливались автомобили, бесшумно, как в кино. Тереза видела, как около ушей Бернара перекатывались желваки, она знала, что это сокращаются височные мышцы. Сразу же после первых глотков вина лицо у Бернара побагровело: этому красивому малому, выросшему в деревне, уже несколько недель не хватало простора, движений, от которых быстрее сгорает в организме ежедневная

порция пищи и спиртных напитков. Тереза не чувствовала к нему ненависти, но как ей хотелось остаться одной, подумать о своей муке, припомнить, где ей было особенно тяжко, ну, просто почувствовать, что Бернара нет рядом с нею, что не нужно заставлять себя есть, улыбаться, следить за выражением своего лица, стараться притушить взгляд, а свободно предаться тайному отчаянию: твоя подруга бежала с необитаемого острова, где она, как ты воображала, должна была томиться возле тебя до конца жизни; она перебралась через бездну, отделяющую тебя от других людей, соединилась с ними, — словом, живет теперь на другой планете... Да нет, какая уж там «другая планета»! Анна всегда принадлежала к миру несложных натур. В дни их одиноких каникул Тереза подолгу всматривалась в ее юное лицо, когда девочка спала, положив голову ей на колени. Обманчивый облик! Подлинную Анну де ла Трав она никогда не знала — ту Анну, которая теперь бегает на свидания к Жану Азеведо в заброшенную охотничью хижину, затерявшуюся между Сен-Клером и Аржелузом.

— Что с тобой? Почему ты не ешь? Не надо им ничего оставлять, просто жаль оставлять, когда дерут такие деньги. Может, тебе плохо от жары?

Чего доброго, в обморок упадешь? А может, тебя мутит? Уже?

Тереза улыбнулась — улыбнулись только ее губы. Сказала, что она думает о похождениях Анны (надо было упомянуть об Анне). Бернар ответил, что теперь он вполне спокоен, раз Тереза взяла это дело в свои руки, и тогда она спросила, а почему его родители противятся этому браку. Он решил, что она смеется над ним, и попросил ее «не говорить парадоксов».

— Во-первых, как тебе известно, эти Азеведо — евреи. Мама хорошо знала старика Азеведо — того самого, который отказался креститься.

Но Тереза ответила, что в Бордо люди, носящие старинные фамилии португальских евреев, принадлежат к весьма родовитым семьям.

— Азеведо уже были очень важными особами, когда наши предки, нищие пастухи, тряслись от лихорадки среди своих болот.

— Послушай, Тереза, ведь ты споришь просто из духа противоречия. Все евреи — одного поля ягоды... Да к тому же все эти Азеведо вырожденцы, все насквозь туберкулезные, каждому это известно.

Она зажгла сигарету размашистым движением, которое всегда шокировало Бернара.

— А вспомни-ка, Бернар, от чего умерли твой дед и твой прадед? А когда ты женился на мне, ты поинтересовался, от какой болезни скончалась моя мама? Неужели ты полагаешь, что в твоем роду и в моем тоже нет ни чахоточных, ни сифилитиков? Найдутся, друг мой, найдутся — да еще в таком количестве, что можно заразить весь мир.

— Позволь тебе сказать, Тереза, что ты заходишь слишком далеко! Даже в шутку, даже для того, чтобы подразнить меня, ты не должна касаться нашей семьи.

Он был уязвлен, он гордо выпятил грудь, ему хотелось одержать верх и не показаться Терезе смешным. Но она все не сдавалась.

— И мое, и твое семейства просто нелепы со своей близорукой осторожностью. Они приходят в ужас от всем известных недугов, но совершенно равнодушны к гораздо более многочисленным, но скрытым изъянам души и тела. Ты вот употребляешь иногда выражение «секретные болезни», верно? Самые опасные для потомства болезни как раз и остаются секретными; в наших семьях о них никогда не думают, ведь наши родные прекрасно умеют прикрывать, прятать семейную грязь; если б не слуги, никто бы ни о чем и не подозревал. К счастью, существуют слуги...

— Я не стану тебе отвечать; когда ты закусишь удила, лучше подождать, пока ты выдохнешься. Со мной это еще полбеды — я же знаю, что ты шутишь. Но у нас дома это не пройдет. Мы не любим шуточек, которые затрагивают честь семьи.

Семья! Тереза потушила сигарету и уставилась взглядом в одну точку. Она видела перед собой клетку с бесчисленными живыми прутьями решетки — клетку, где кругом уши и глаза. И там она, Тереза, сидит, скорчившись в углу, обхватив руками колени, уткнувшись в них подбородком, и так и будет сидеть, дожидаясь смерти.

— Ну, Тереза, очнись! Если бы ты видела, какое у тебя сейчас лицо!

Она улыбнулась, снова надела маску.

— Да это я просто так... Ты совсем дурачок, дорогой мой.

Но когда ехали обратно в такси и Бернар прижимался к ней, она рукой отстраняла, отталкивала его.

В этот последний вечер перед возвращением в родные края они легли спать в девять часов. Тереза приняла таблетку, но напрасно ждала она сна — сон все не приходил. На мгновение она забылась в темноте, но тут Бернар, пробормотав что-то невнятное, повернулся, и она ощутила, как его

большое и горячее тело прижалось к ней; она оттолкнула его и, чтобы избавиться от этих жарких прикосновений, вытянулась на самом краешке постели, во через несколько минут он вновь перекатился к ней, словно его тело бодрствовало, даже когда спало сознание, и даже во сне искало свою привычную добычу. Резким толчком, от которого он, однако, не проснулся, она вновь отстранила его... Ах, если бы отстранить его раз и навсегда! Сбросить с постели куда-то в темноту.

В ночном Париже перекликались автомобильные гудки, как лунными ночами перебрехивались в Аржелузе собаки, как пели наперебой петухи, и ни малейшей прохлады не вливалось с улицы.

Тереза зажгла лампу и, опершись локтем о подушку, внимательно вглядывалась в человека, неподвижно лежавшего возле нее, — в молодого мужчину, которому шел двадцать седьмой год; сбросив с себя легкое одеяло, он спал так спокойно, что даже не слышно было его дыхания; взлохмаченные волосы падали ему на лоб, еще гладкий, на виски без единой морщинки. Он спал, этот безоружный и нагой Адам, спал глубоким и как будто вечным сном; жена набросила одеяло на это неподвижное тело, поднялась с постели,

нашла письмо, которое она не дочитала, подвинулась ближе к лампе.

> «Если бы он захотел, чтобы я убежала из дому, я бы все бросила и бежала с ним без оглядки. Мы останавливаемся на краю, на самом краю "дозволенной ласки" — останавливаемся по его воле, а не потому, что я сопротивляюсь, вернее, это он сопротивляется, а я хотела бы перейти ту неведомую мне последнюю черту, о которой он говорит, что одно уж приближение к ней — несказанное блаженство; послушать его, так надо всегда оставаться по эту ее сторону, он гордится тем, что умеет остановиться на наклонной плоскости, тогда как другие удержаться уже не в силах и катятся вниз».

Тереза растворила окно, разорвала три письма на мелкие клочки, наклонилась над каменной пропастью, где в этот предрассветный час слышался только стук колес ручной тележки. Обрывки бумаги, кружась в воздухе, падали на балконы нижних этажей. Тереза вдохнула свежий запах зелени. Откуда, из каких полей принес его ветер в эту асфальтовую пустыню? Тереза

представила себе, как упала бы она на мостовую, разбилась насмерть и вокруг ее тела засуетились бы люди — полицейские и ночные бродяги... «Нет, Тереза, у тебя слишком много воображения, ты не покончишь с собой». Да, по-настоящему ей и не хотелось умереть, ее призывала неотложная задача, и выполнить ее нужно было не из мести, не из ненависти, во для того, чтобы проучить эту юную дурочку из Сен-Клера, поверившую в возможность счастья. Пусть она узнает, так же как сама Тереза, что счастья на земле не существует. Если у Терезы нет с Анной ничего общего, пусть общим для них будет только это — тоска, отсутствие высокой цели, высокого долга, и пусть ждет их только низменная, будничная обыденность и безутешное одиночество. Уже заря осветила кровли. Тереза вновь вытянулась на своем ложе около спящего мужа, но лишь только она легла, он тотчас пододвинулся к ней.

Проснулась она с ясной головой, спокойная, рассудительная. Зачем заглядывать так далеко? Семья зовет ее на помощь, и надо действовать сообразно требованиям семьи, так будет надежнее, по крайней мере, не собьешься с правильного пути. И Тереза соглашалась теперь с Бернаром, когда он в сотый раз доказывал, что если брак Ан-

ны с молодым Дегилемом расстроится, это будет просто катастрофа. Дегилемы люди не их круга, у них дед был пастухом... но ведь у них лучшие во всем краю сосновые леса; Анна же в конце концов не так уж богата — от отца ей нечего ждать, кроме виноградников в болотистой низине около Лангона, их чуть не каждый год затопляет! Анне ни в коем случае не следует упускать такого жениха, как Дегилем. От запаха шоколада Терезу за завтраком мутило, эта легкая тошнота подтверждала другие признаки: беременна, уже! «Лучше сразу же завести ребенка, — сказал Бернар, — потом можно будет и не думать об этом», — и он уважительно посмотрел на женщину, носившую во чреве своем его будущего наследника, единственного владельца бесчисленных сосен.

V

Скоро Сен-Клер! Сен-Клер... Тереза измеряет мысленным взором путь, который прошла в воспоминаниях. Удастся ли ей довести Бернара хотя бы до этого рубежа? Трудно надеяться, что он согласится проделать весь этот извилистый путь таким медленным шагом, ведь ничего существенного она еще не успела сказать. «Когда я вместе с ним дойду до того перевала, до которого добралась, мне еще столько останется ему открыть». И она задумывается над загадкой собственной своей души, она вопрошает ту молодую замужнюю даму, чье благоразумие все так хвалили, когда она поселилась в Сен-Клере; ей вспоминаются первые недели, прожитые в прохладном и темноватом доме родителей Бернара. Ставни тех окон, которые выходят на городскую площадь, всегда закрыты, но слева за решеткой виден сад, пламенеющий гелиотропами, геранью, петуниями. Тереза служила доверенным лицом, посредницей между супругами де ла Трав, укрывавшимися от солнца в полумраке маленькой гостиной первого этажа, и Анной, бродившей по дорожкам сада,

из которого ей запрещалось выходить. Тереза говорила родителям:

«Будьте помягче, кое в чем уступите ей, предложите, например, поехать с вами попутешествовать, прежде чем она примет какое-либо решение. Я добьюсь, что она согласится поехать. А в ваше отсутствие я кое-что предприму». Супруги де ла Трав считали желательным, чтобы Тереза встретилась с молодым Азеведо. «От лобовой атаки ничего хорошего нельзя ждать, мама», — говорила Тереза. По мнению г-жи де ла Трав, никакие слухи, слава богу, еще не просочились. Одна только мадемуазель Моно, почтовая служащая, в курсе дела — она перехватила несколько писем Анны, «но эта девица будет нема как могила. Она у нас в руках и болтать не посмеет».

«Надо избавить бедную девочку от лишних страданий», — говорил Гектор де ла Трав. И все же он, отец, еще недавно готовый исполнить любой самый нелепый каприз Анны, теперь вполне соглашался с женой: «Что поделаешь, лес рубят — щепки летят», — или говорил: «Когда-нибудь она нам еще спасибо скажет». Так-то оно так, но что, если она заболеет? Супруги умолкали, и глаза у обоих затуманивались, — несомненно, они мысленным взором следили за своей дочерью,

видели, как бродит по солнцепеку их исхудавшая девочка, которая с отвращением отказывается от пищи; она ходит по саду, не замечая, что топчет цветы на клумбах, жмется к решетке, как дикая козочка, ищет лазейку. Г-жа де ла Трав говорила, покачивая головой: «Не могу же я вместо нее пить мясной сок, верно? В саду она наедается фруктов — только чтоб за столом ничего не есть». А Гектор де ла Трав утешал себя: «Если бы мы дали согласие, она сама бы потом упрекала нас, хотя бы из-за того, что наплодила несчастных детей». Жена сердилась — зачем он как будто ищет оправданий? «Хорошо, что Дегилемы еще не вернулись. И, по счастью, им безумно хочется женить сына на нашей Анне...» А дождавшись, когда Тереза выйдет из комнаты, они спрашивали друг друга: «И чем только этим девчонкам забивают головы в монастыре? Ведь дома-то у нее перед глазами хорошие примеры, и мы всегда следили, какие она книги читает. Тереза говорит, что сильнее всего могут вскружить голову молоденьким девушкам назидательные романы из «Розовой библиотеки», но Тереза всегда сыплет парадоксами. К тому же Анна, слава богу, не такая уж страстная любительница чтения, мне никогда не приходилось делать ей замечаний на

этот счет. Она может стать превосходной семьянинкой. Право, если нам удастся уговорить ее поехать с нами, переменить обстановку... Ты помнишь, как ей помогли морские купания, когда мы повезли ее в Сали, после того как она болела корью и бронхитом? Поедем, куда она захочет, вот именно — куда захочет. Бедная наша девочка, так ее жаль!» Г-н де ла Трав, вздыхая, говорил вполголоса: «Эх, какая уж ей радость путешествовать с нами!» — «Что ты сказал?» — переспрашивала жена, — она уже стала туга на ухо. «Ничего, ничего», — отвечал он. Но не вспомнилось ли этому старику, уютно расположившемуся в богатом доме жены, не вспомнилось ли ему вдруг путешествие с любимой женщиной, блаженные часы его молодой влюбленности?

В саду Тереза разыскивала Анну. Бедняжка так исхудала, что прошлогодние платья висели на ней, как на вешалке. «Ну, что?» — громко кричала она, заметив подругу. Пепельно-серый гравий на дорожках, высохшая, шуршащая под ногами трава, запах опаленной солнцем герани и эта юная девушка, казавшаяся в знойный августовский день более чахлой, чем сжигаемые солнцем цветы, — от всего этого у Терезы больно сжималось сердце. Иной раз грозовой ливень вынуждал их

укрыться в оранжерее; крупные градины стучали по стеклам.

— Ну почему же тебе не поехать? Ведь все равно ты не видишь его.

— Да, я не вижу его, но знаю, что он близко, всего в десяти километрах отсюда. Я знаю, что когда ветер дует с востока, он слышит церковный благовест в то же самое время, что и я. Разве тебе все равно, где будет Бернар — в Париже или в Аржелузе? Я не вижу Жана, но знаю, что он недалеко. В воскресенье, за мессой, я даже не пытаюсь повернуть голову и посмотреть, нет ли его в церкви, — с наших мест виден только алтарь, и толстая колонна отгораживает нас от всех. Но при выходе...

— В прошлое воскресенье его не было?

Тереза знала, что его не было, и знала, что Анна, которую тянула за руку мать, тщетно искала в толпе любимое лицо: Жана не было.

— Может, он нездоров... Может, его письма перехватывают. Мне ничего не известно.

— Странно все-таки, что он не находит возможности передать тебе записку.

— Если бы ты захотела, Тереза... Да нет... Я же знаю, что ты в щекотливом положении.

— Согласись поехать в путешествие, и без тебя,

может быть, мне удастся...

— Я не могу отправиться куда-то далеко от него.

— Да ведь он все равно уедет отсюда, детка. Через несколько недель его не будет в Аржелузе.

— Ах, замолчи! Это нестерпимая мысль. И ни единой весточки от него! Я не могу так жить. Я уже едва дышу. Чтобы не умереть, я должна поминутно вспоминать его слова, которые наполняли меня радостью. Но я столько раз их твердила, что теперь уже не уверена, действительно ли он говорил их. Нет, погоди, при нашей последней встрече он сказал слова, которые до сих пор звучат у меня в памяти: «В моей жизни нет никого, кроме вас...» Да, он именно так и сказал, а ведь это значит: «Вы — самое дорогое для меня в жизни...» Не могу в точности вспомнить.

Сдвинув брови, она словно вслушивалась в эхо этих утешительных слов и до бесконечности расширяла их значение.

— А какой он с виду, этот юноша?

— Ты представить себе не можешь!

— Неужели он совсем не похож на других молодых людей?

— Я хотела бы описать его тебе, но не могу найти слов... В конце концов он, возможно, показался

бы тебе самым обыкновенным. Но я-то знаю, что это совсем не так.

Она уже и сама не могла сказать, что именно отличает его от других, он был озарен ослепительным светом ее любви к нему. «А меня, — думала Тереза, — страсть сделала бы еще более зоркой, от моих глаз ничто не ускользнуло бы в том человеке, которого бы я полюбила».

— Тереза, если я соглашусь поехать, ты увидишься с ним? Передашь мне его слова? Будешь пересылать ему мои письма? Если я поеду, если у меня хватит мужества поехать...

Тереза уходила, покидала это царство света и зноя и вновь проскальзывала, словно темная оса, в кабинет, где сидели родители Анны, выжидая, чтобы спала жара, а их дочь уступила. Много понадобилось этих посреднических переговоров, чтобы Анна согласилась наконец поехать с родителями. И, вероятно, Терезе так и не удалось бы ее уговорить, если бы не известие о скором возвращении Дегилемов. Анна затрепетала перед этой новой опасностью. Тереза убеждала ее, что молодой Дегилем не только богатый жених, но, «пожалуй, и недурен собой».

— Да что ты, Тереза! Я и глядеть на него не хочу, он в очках, плешивый, старый.

— Ему двадцать девять лет.

— Ну я же и говорю — старый! Да и все равно, старый или не старый...

И вот наконец за ужином супруги де ла Трав заговорили о Биаррице, забеспокоились, в какой там устроиться гостинице. Тереза наблюдала за Анной — оцепеневшая, безмолвная, тело без души... «Ну заставь же себя, пожалуйста, съесть что-нибудь... ведь можно же заставить себя...» — твердила г-жа де ла Трав. Анна машинально подносила ложку ко рту, ни искорки света в глазах. Никто и ничто для нее не существовало, кроме отсутствующего... Иногда губы ее чуть трогала улыбка: ей вспоминалось какое-нибудь его слово, ласка, которую он дарил ей в «хижине», затерявшейся среди зарослей вереска, тот случай, когда Жан Азеведо неосторожным движением чуть порвал ей блузку. Тереза смотрела на Бернара, склонившегося над тарелкой; так как он сидел спиной к свету, ей не видно было его лица, но она слышала, как он неторопливо жует, перемалывает челюстями пищу, священнодействует... Она спешила встать из-за стола. Свекровь говорила: «Она хочет, чтобы окружающие ничего не замечали. Я бы с удовольствием побаловала ее, но она не любит, чтобы за ней ухаживали. А такого

рода недомогания вполне естественны, раз она в положении. Бывает и хуже. Но что ни говорите, а она ужасно много курит. — И г-жа де ла Трав пускалась в воспоминания о своей первой беременности: — Помню, когда я ждала тебя, Бернар, мне непременно нужно было нюхать резиновый мячик — только благодаря этому меня переставало выворачивать наизнанку».

— Тереза, ты где?

— Здесь, на скамейке.

— Ах да, вижу огонек твоей сигареты.

Анна присела рядом, прислонилась головой к неподвижному плечу Терезы и, глядя на небо, сказала:

— Он видит эти звезды, слышит звон к вечерне... — И еще она сказала: — Поцелуй меня, Тереза.

Но Тереза не наклонилась к доверчиво прильнувшей к ней головке. Только спросила:

— Тяжко тебе?

— Нет, нынче вечером не тяжко! Я поняла, что так или иначе встречусь с ним. Теперь я спокойна. Главное, чтоб он это знал, а он это узнает от тебя. Я решила согласиться на поездку. Но, когда вернемся, я через каменные стены пройду, рано или поздно брошусь к нему на грудь — в этом я уверена, как в том, что я живу на свете. Нет,

Тереза, нет, хоть ты, по крайней мере, не читай мне нотаций, не говори о семье...

— А я и не думаю о семье, детка, я о нем думаю: нельзя же так вот врываться в жизнь человека, у него ведь тоже есть отец, мать, свои интересы, есть работа, есть, может быть, любовная связь...

— Нет, он мне сказал: «Кроме вас, у меня никого нет на свете...» А в другой раз так говорил: «Наша любовь — вот единственное, чем я дорожу сейчас».

— «Сейчас»?

— Ну что ты вообразила? Неужели ты думаешь, что он хотел сказать «в этот час»?

Терезе уже не нужно было спрашивать Анну, тяжело ли ей: она знала, что девочка, сидящая рядом, в темноте, страдает, но не испытывала к ней жалости. Почему ее надо жалеть? Ведь так сладостно тихонько повторять имя какого-то человека, которого ты полюбила, и верить, что ваши сердца неразрывно связаны. Одна уж мысль, что он существует, живет, дышит, вечером засыпает, положив голову на согнутую руку, что он просыпается на заре, словно его молодое тело разрывает дымку утреннего тумана...

— Ты плачешь, Тереза? Это из-за меня ты плачешь? Ты, стало быть, любишь меня.

Девушка опустилась на колени, прижалась головой к боку Терезы и вдруг выпрямилась:

— Послушай, меня что-то толкнуло. Там что-то движется.

— Да, вот уже несколько дней, как он шевелится.

— Ребеночек?

— Да, он уже живой.

Они вернулись домой, обнявшись, как ходили когда-то по низанской, по аржелузской дороге. Тереза вспоминает, что трепещущая у нее под сердцем ноша внушала ей тогда страх: сколько страстей, сокрытых в самой глубине ее естества, должно перейти к этому бесформенному зародышу! Ей не забыть, как она, не зажигая огня, сидела в тот вечер у раскрытого окна в своей комнате (Бернар крикнул ей, когда она еще была в саду: «Не зажигай света, комары налетят!»). Она считала, сколько месяцев осталось до рождения ребенка. Ей хотелось верить в Бога и вымолить у него, чтобы это неведомое существо, которое она еще носит во чреве, никогда не появлялось бы на свет.

VI

Странно, что дни, потянувшиеся вслед за отъездом Анны и супругов де ла Трав, вспоминаются ей теперь как пора тупого оцепенения. Было решено, что, оставшись в Аржелузе, она найдет какой-нибудь способ воздействовать на этого Жана Азеведо, чтобы заставить его выпустить из когтей добычу, но она ничего для этого не делала — ее тянуло ко сну, к покою. Бернар согласился на это время поселиться в Аржелузе, и даже не в своем доме, а у Лароков, так как там было удобнее, а кроме того, там жила тетя Клара, что избавляло их от всех хозяйственных хлопот. Но что было Терезе до чужих людей? Пусть сами разбираются в своих делах. А ей бы так вот и жить в дремотном бездействии, пока она не разрешится от бремени. Ее возмущало, зачем Бернар каждое утро напоминает ей, что она обещала потолковать с Жаном Азеведо. И она обрывала его: она уже с трудом переносила общество мужа. Возможно, что в ее раздражительности повинна была, как полагал Бернар, ее беременность. А сам Бернар тогда испытывал первые приступы мнительности,

свойственной людям такого склада, хотя редко бывает, чтобы она проявлялась у них раньше тридцати лет. Его преследовал страх смерти, удивительный у такого крепыша и здоровяка. Но что можно было ему ответить, когда он страдальчески говорил: «Вы не знаете, что я чувствую...» У этих чревоугодников, у этих потомков праздных и упитанных людей тело только с виду кажется могучим. Посадите сосну в плодородную, удобренную почву, она станет расти очень быстро, но скоро сердцевина дерева начнет гнить, и сосну, как будто в полной ее красе, придется срубить. «Это у вас нервное», — успокаивали Бернара, но он-то хорошо чувствовал роковую трещину — «раковину», таящуюся в металле. И эта мнительность вдруг дала себя знать; он перестал есть, лишился аппетита. «Почему же ты с врачами не посоветуешься?» Он с притворным равнодушием пожимал плечами — в действительности же неопределенность меньше страшила его, чем возможный смертный приговор. Ночами Тереза иногда просыпалась от его хриплых стонов. Он брал жену за руку и прикладывал ее ладонь к своей груди, чтобы Тереза услышала, с какими перебоями стучит у него сердце. Тереза зажигала свечу, вставала и капала валерьянку в стаканчик

с водой. «Ведь это, в сущности, случайность, что валерьянка — целебное средство, — думала она. — Почему бы ей не быть смертельным ядом? Ведь, кроме вечного сна, ничто нас не успокоит, ничто не может по-настоящему усыпить. Почему же этот нытик так боится смерти? Ведь она бы раз и навсегда его успокоила». Бернар засыпал раньше ее. Каково было ей ждать сна, лежа рядом с этим крупным телом, слушать, как его храп порою переходил в тоскливый стон. Слава богу, теперь Бернар ее не домогался — из всех физических усилий плотская любовь казалась ему самой большой угрозой для сердца. На заре кричали петухи, будили людей на фермах. Восточный ветер доносил из Сен-Клера благовест — там звонили к заутрене. Тереза смыкала наконец глаза. Но тогда вскакивал лежавший рядом с нею муж, поспешно одевался, умывался по-крестьянски, едва ополаскивая лицо холодной водой. Потом, прошмыгнув в кухню, как голодная собака, вытаскивал из кладовой остатки вчерашнего ужина и завтракал наспех, обгладывая остов курицы, быстро прожевывая ломти холодного жаркого, или просто закусывал гроздью винограда и коркой хлеба, натертой чесноком, и этот торопливый завтрак был для него единственной приятной едой за

весь день. Он бросал куски собакам — Фламбо и Диане, и они, щелкая зубами, подхватывали подачку на лету. Туман приносил с собою запахи осени. То были часы, когда Бернар переставал страдать и вновь чувствовал в себе всемогущие силы молодости. Скоро полетят вяхири — надо заняться манками, привадами, у которых выколоты глаза. В одиннадцать часов он возвращался домой и приходил в спальню, когда Тереза еще была в постели.

— Ну что? Как с этим Азеведо? Ты же знаешь, что мать ждет в Биаррице вестей от нас.

— А как твое сердце?

— Не говори ты мне о сердце! Вот спросила, и я опять стал его чувствовать. Разумеется, это доказывает, что тут все на нервной почве... Ты ведь тоже думаешь, что это нервное?

Тереза никогда не отвечала так, как ему хотелось:

— Откуда мне знать? Ведь только тебе одному известно, что ты испытываешь. Твой отец умер от грудной жабы, но это, разумеется, еще не значит, что и у тебя... тем более в твоем возрасте. Конечно, сердце — слабое место у всех Дескейру. До чего ты смешон, Бернар, со своим страхом смерти! Неужели у тебя не бывает, как у меня, например,

чувства нашей полной бесполезности? Нет? Тебе не кажется, что жизнь таких людей, как мы, удивительно похожа на смерть?

Бернар пожимал плечами. Она раздражала его своими парадоксами. Дело нехитрое — показывать свое остроумие, надо только все говорить наперекор здравому смыслу. Но зря Тереза тратит на него порох, добавлял он, лучше поберегла бы его для разговора с молодым Азеведо.

— Тебе известно, что в середине октября он уезжает?

В Вилландро, последней станции перед Сен-Клером, Тереза размышляет: «Как убедить Бернара, что я вовсе не была влюблена в этого юношу? Он наверняка вообразит, что я влюбилась без памяти. Как все слепцы, которым любовь совсем неведома, он должен вообразить, что такое преступление, как то, в котором меня обвиняют, может объясняться только любовной страстью». Надо, чтобы Бернар понял, что в ту пору она была еще далека от ненависти к нему, хотя зачастую он был ей противен; однако ей и в голову не приходила мысль, что другой мужчина казался бы ей милее. В конце концов Бернар был не так уж плох. Она терпеть не могла создаваемые в романах образы необыкновенных личностей,

какие никогда не встречаются в жизни.

Из всех, кого она знала, незаурядным человеком она считала только своего отца. Она старалась приписать какое-то душевное величие этому упрямому, недоверчивому радикалу, который сразу ставил на нескольких лошадок: он был и помещик, и промышленник (кроме лесопилки в Б., он еще занимался на своем заводике в Сен-Клере переработкой смолы, добывавшейся в собственных его владениях и в сосняках его многочисленной родни). Главным же занятием г-на Ларока была политика, и, хотя его резкость вредила ему, в префектуре к нему прислушивались. А как он презирал женщин, даже Терезу — еще в те времена, когда все восхищались ее умом. А со времени семейной драмы у его дочери он твердил адвокату: «Все они идиотки или истерички». Этот антиклерикал любил выставлять себя человеком целомудренным. Хоть он и напевал иногда какую-нибудь песенку Беранже, но терпеть не мог, когда при нем затрагивали в разговоре некоторые темы, и густо краснел тогда, как юноша. Бернар слышал от де ла Трава, что г-н Ларок женился девственником. «И знакомые уверяют меня, что и теперь, когда он давно уж вдовеет, у него нет любовницы. Оригинал твой

папаша!» Ну да, оригинал. Но если вдали от отца Тереза создавала приукрашенный его образ, то при свидании с ним она сразу чувствовала всю его будничность. В Сен-Клере он бывал редко, чаще приезжал в Аржелуз, так как не любил встречаться с супругами де ла Трав. Хотя по уговору в доме запрещалось говорить о политике, но при них за обедом, как только подавали суп, начинался нелепый спор, вскоре становившийся злобным. Терезе было стыдно вмешиваться в это, и она из гордости не открывала рта, пока спор не затрагивал религии. Тут уж она не выдерживала и бросалась на помощь отцу. Все кричали, и так громко, что даже тетя Клара улавливала обрывки фраз и тоже вмешивалась в схватку; выкрикивая слова своим ужасным голосом глухого человека, старая радикалка давала волю своим политическим страстям: «Да, да, нам известно, что творится в монастырях». А в сущности, думала тогда Тереза, тетя Клара в Бога верит больше, чем любой из де ла Травов, ополчилась же она против Вседержителя за то, что по его соизволению она и глухая и безобразная, да так и умрет, не изведав ни любви, ни плотских наслаждений. С того дня, как г-жа де ла Трав в порыве негодования вышла из-за стола, стали по обоюдному согласию

избегать в спорах всякой метафизики. Впрочем, достаточно было и политических тем, чтобы вывести из себя противников, хотя при всем различии их взглядов они были единодушны в главном: все они полагали, что единственное благо в этом мире — собственность, и самое ценное, ради чего и стоит жить на свете, — это владеть землей. Так чего же они спорят, мечут громы и молнии? И если уж хотят пускать пыль в глаза, то все-таки знали бы меру. Терезе, у которой «чувство собственности было в крови», хотелось, чтобы вопрос ставился с циничной простотой — она ненавидела громкие слова, которыми ее отец и де ла Травы прикрывали общую им всем страсть. Когда ее отец заявлял о своей «неуклонной преданности демократии», она одергивала его: «Ну чего ты стараешься? Мы ведь одни!» Она говорила, что ее тошнит от высокопарных фраз в политике, ей была непонятна трагическая сторона классовых конфликтов, — ведь она выросла в краю, где даже бедняк владеет клочком земли и стремится приобрести ее побольше, где всеобщая тяга к земле, страсть к охоте, склонность хорошо поесть и хорошо выпить создают некую братскую связь между буржуа и крестьянами. А ведь Бернар имел к тому же образование, про него го-

ворили: «Его кругозор шире, чем у окружающих». Тереза сама радовалась тому, что муж у нее такой человек, с которым можно поговорить: «В общем, он гораздо выше своей среды». Так она думала до тех пор, пока не встретилась с Жаном Азеведо.

Это было ранней осенью, когда ночная прохлада держится все утро, а сразу после завтрака, как бы ни жгло солнце, задолго до сумерек поднимается дымка тумана. Уже летели первые стаи вяхирей, и Бернар возвращался домой только к вечеру. Но в то утро он после дурно проведенной ночи отправился в Бордо посоветоваться с врачом.

«Мне тогда ничего не хотелось, — думает Тереза. — Я прогуливалась с часок по дороге, потому что беременным полезно ходить пешком. В лес старалась не углубляться — ведь из-за этих охотничьих хижинок приходится поминутно останавливаться, подавать свистом сигнал и ждать, когда охотник крикнет, что можно пройти, но иногда в ответ услышишь долгий свист, значит, в дубняк спустилась на деревья перелетная стая, а тогда надо притаиться и сидеть тихонько. Потом я возвращалась домой, дремала у огня в гостиной или в кухне, и все мне подавала тетя Клара, а я, как богиня, не удостаивающая

взглядом смиренную жрицу в своем храме, не обращала ни малейшего внимания на эту старую деву, гнусавым голосом рассказывавшую всякие истории, которые слышала от фермеров и кухарок; она говорила, говорила без умолку — ведь тогда ей не нужно было делать усилий, чтобы расслышать чужие слова; почти всегда ока рассказывала какой-нибудь мрачный случай из жизни фермеров, которых она хорошо знала, старательно лечила, самоотверженно ухаживая за больными. Она говорила о том, как морят на фермах стариков голодом, заставляют работать до самой смерти, как оставляют калек без всякого ухода и как порабощены там женщины изнурительным трудом. С каким-то удовольствием она передавала на местном наивном диалекте самые жестокие слова этих людей. По правде говоря, она только меня одну на всем свете и любила, а я принимала как должное, что она становится передо мной на колени, чтобы расшнуровать мои ботинки, снять с моих ног чулки и согреть ступни старыми своими руками.

Приходил за распоряжениями Бальон, если на следующее утро ему надо было ехать в Сен-Клер. Тетя Клара составляла список покупок и поручений, возлагавшихся на него, отдавала ему

рецепты на всех больных в Аржелузе: „Прежде всего сходите в аптеку — аптекарю целого дня не хватит, чтобы приготовить все эти лекарства..“».

«Моя первая встреча с Жаном... Тут надо припомнить все обстоятельства, каждую мелочь. Я решила пойти в ту заброшенную охотничью хижину, где мы с Анной полдничали когда-то и где она, как мне было известно от нее, назначала свидания этому Азеведо. Нет, я вовсе не собиралась совершать туда паломничество. Просто сосны в той стороне поднялись так высоко, что там уже невозможно было подстерегать вяхирей, и можно было не бояться помешать охотникам. Хижина стала для них непригодна: разросшийся кругом нее лес скрывал горизонт; между рядов высоких сосен уже не проглядывали широкие полоски неба, где охотник, подстерегающий добычу, видит полет стаи. Не забыть бы, что октябрьское солнце еще палило, что мне трудно было идти по песку, да и мухи не давали покоя. А как тяжело мне было нести свой живот! Я так мечтала посидеть на ветхой скамейке в хижине. Когда я отворила дверь, из нее вышел какой-то молодой человек с непокрытой головой; я сразу узнала в нем Жана Азеведо и сначала подумала, что помешала его любовному свиданию, такой

у него был смущенный вид. Я хотела было уйти, но, странное дело, он только и думал, как бы меня удержать: „Да нет же, входите, пожалуйста, клянусь, что вы мне нисколько не помешали“. Почему он спросил меня, видно ли снаружи то, что происходит внутри хижины? Я вошла по его настоянию и очень была удивлена, что там никого нет. Может быть, пастушка убежала через другой выход? Но не слышно было, чтобы хрустнул хоть один сучок. Он тоже узнал меня и сразу же заговорил об Анне. Я села, он стоял — в той же позе, как на фотографии. Я старалась угадать сквозь его легкую рубашку, где то место на груди, которое я проткнула на снимке булавкой; я смотрела на него с любопытством, но без всякого волнения, и беззлобно вспомнила то, что написала мне Анна:

„Я прикладываю ладонь к его груди — там, где бьется сердце... он называет это „последней дозволенной лаской“...“ Был ли он красив? Великолепной лепки лоб, бархатные глаза, свойственные его племени, слишком полные щеки и препротивные прыщики — признак волнения крови у юношей, а главное — влажные ладони, которые он торопливо вытирал носовым платком, прежде чем пожать мне руку. Но глаза и

горячий взгляд были прекрасны. Мне понравился и его большой рот, чуть приоткрывавший острые зубы, — право, казалось, что он сейчас высунет язык, как молодой пес, когда ему жарко. А какая я была тогда? Вполне в духе семейства Дескейру, насколько мне помнится. Я говорила с ним надменно, с пафосом обвиняла его в том, что он „внес смятение и раздоры в почтенную семью“. Ах, надо вспомнить его непритворное изумление — этот юнец искренне расхохотался: „Так вы воображаете, будто я хочу жениться на Анне? Вы полагаете, что я домогаюсь этой чести?“ Я поразилась, и мне сразу стало ясно, какая глубокая пропасть отделяет Анну, пылающую страстью, от этого равнодушного юноши. Он энергично защищался: конечно, как ему было не поддаться очарованию такой прелестной девочки. Но ведь поиграть не запрещается, и именно потому, что тут не могло быть и речи о браке, игра казалась ему безобидной. Он, разумеется, только притворялся, что разделяет намерения Анны... И когда я высокомерно оборвала его, он с горячностью возразил, что сама Анна может засвидетельствовать его порядочность — он никогда не заходил слишком далеко. В конце концов, мадемуазель де ла Трав обязана ему часами искренней страсти,

вероятно, единственными, которые ей суждено испытать за всю ее унылую жизнь. „Вы говорите, что она страдает, но поверьте мне, эти страдания — лучшее, что она может ждать от судьбы. Я знаю вас по рассказам и уверен, что все это можно вам сказать, ибо вы не похожи на здешних мещан. Перед отплытием в мрачное путешествие на борту старой сенклерской каравеллы я снабдил Анну запасом разнообразных чувств и мечтаний, — быть может, они спасут ее от отчаяния и, уж во всяком случае, от отупения“. Теперь уж я не помню, раздражали ли меня эта непомерная претенциозность, эта рисовка или они мне даже нравились. Да и по правде сказать, он говорил так быстро, что сначала я не успевала улавливать смысл, но вскоре я привыкла к этому многословию. „Как! Вы считаете меня способным желать такого брака? Бросить якорь в этих песках или же взвалить на свои плечи ношу — потащить за собой в Париж глупенькую девочку? Прелестный образ Анны, конечно, сохранится в моей памяти, и в ту минуту, как вы меня тут застигли врасплох, я как раз думал о ней... Но разве допустимо, чтобы человек застыл на одном месте? Каждое мгновение должно приносить ему свою особую радость, отличную от всех пережитых им радостей“.»

«Сочетание в одном существе этой жадности юного животного и несомненного ума показалось мне таким необычным, что я слушала не прерывая. Да, я положительно была ослеплена. Правда, дешевой мишурой! Но все-таки ослеплена. Помню дробный стук овечьих копытец, звон бубенчиков, дикие крики пастухов, возвещавшие, что приближается стадо. Я сказала этому юноше, что может показаться странным, если нас увидят вдвоем в этой хижине; мне хотелось, чтоб он ответил: „Не надо уходить, давайте притаимся и будем тихонько ждать, пока стадо пройдет дальше“. Меня порадовало бы это молчаливое ожидание, словно мы два сообщника. Я вдруг тоже стала требовательной и хотела, чтобы каждая минута дарила мне острые переживания. Но Жан Азеведо беспрекословно отворил дверь хижины и вежливо посторонился, пропуская меня первой. Он проводил меня до Аржелуза, убедившись, что я против этого не возражаю. Как быстро, казалось мне, мы дошли, но за это время мой спутник успел затронуть в разговоре множество тем! И до чего по-новому он освещал то, что я уже хорошо знала, как мне думалось. Когда, например, он заговорил о религии, я сказала то, что обычно говорила дома, а он прервал меня:

„Да, да, конечно... но ведь это гораздо сложнее...“ И он бросал в споре доводы, восхищая меня их оригинальностью. А было ли чем восхищаться?.. Кажется, я и теперь могу повторить эту мешанину, которой он меня угощал: он говорил, что долго воображал, будто всего важнее самоуглубление, искание бога. „Взойти на корабль и пуститься в море, избегая, как смертельной опасности, людей закоснелых, возомнивших, что они уже все нашли, застывших на одном месте, где они вырыли себе берлоги, чтобы погрузиться в дремоту. Я долго их презирал...“

Он спросил у меня, читала ли я книгу Рене Базена „Жизнь отца Фуко“. Я ответила деланным смехом. И тогда он сказал, что эта книга потрясла его. „Жить среди опасностей, в самом глубоком смысле этих слов, — добавил он, — это, пожалуй, означает, что человек не столько ищет, сколько уже нашел своего Бога и, обретя его, остается в его орбите...“ Он восторгался „деяниями мистиков“, жаловался на необузданность своей натуры, не позволяющую ему следовать их примеру, — ведь, „даже обращаясь к ранней юности, я не помню себя целомудренным“. Это бесстыдство, эта легкость, с которой он выворачивался наизнанку, право, были даже забавны после нашей

провинциальной скрытности, молчания, которыми каждый из нас охраняет свою внутреннюю жизнь! Сплетни в Сен-Клере касаются чисто внешних обстоятельств, сердца всегда остаются замкнутыми. Ну что я, в сущности, знаю о Бернаре? Быть может, в нем есть нечто значительное, бесконечно более важное, чем та карикатурная фигура, какой я представляю его себе. Жан говорил, я слушала молча, на язык приходили только избитые фразы из наших обычных словопрений. Подобно тому как у нас в ландах телеги всегда делают „по колее“, то есть с достаточно широким ходом, для того чтобы колеса попадали в проторенные дорожные колеи, все мои мысли до сих пор шли „по колее“ моего отца и родителей моего мужа. Жан Азеведо шагал с непокрытой головой; у меня все еще перед глазами его рубашка с отложным воротом, открывавшим треугольник узкой, мальчишеской груди и слишком широкую шею. Чувствовала ли я влечение к нему? Ах, господи, нет! Но вот мне впервые встретился человек, считавший, что важнее всего — умственная жизнь. Он то и дело упоминал имена своих учителей, говорил о своих парижских друзьях, передавал их слова, рассказывал о книгах, и я не могла считать его каким-то феноменом: он

входил в обширную когорту избранных умов, тех, кто „поистине живет“, как говорил он. Он приводил имена, и мысли не допуская, что я могу их не знать, и я не показывала вида, что слышу их впервые в жизни.»

«Когда за поворотом дороги показалось ржаное поле Аржелуза, я невольно воскликнула: „Уже!“ Над этой тощей нивой, с которой уже сжали хлеб, стлался дым от сжигаемых на костре сорняков; через выемку в откосе дороги двигалась овечья отара, словно поток грязноватого молока, и, пройдя, овцы сразу же начинали пастись, словно щипали вместо травы песок. Жану нужно было идти полем к себе в Вильмежа. Я сказала, что провожу его: „Все эти вопросы очень меня интересуют“. Но нам вдруг не о чем стало говорить. На стерне острые края соломинок влезали в сандалии и больно кололи мне ноги. Мне казалось, что Жану хочется поскорее остаться одному и без помехи отдаться своим мыслям. Я напомнила ему, что мы еще не поговорили об Анне. „Мы не свободны в выборе тем для разговоров, да и для размышлений тоже, или же тогда надо согласиться с мистиками и следовать их правилам... — величественно сказал он. — Такие люди, как мы, всегда плывут по течению, идут по линии

наименьшего сопротивления“. Словом, он все сводил к тому, о чем читал в этот период в книгах. Мы решили встретиться еще раз, чтобы обсудить, как вести себя с Анной. Он говорил рассеянно и вдруг, не ответив на вопрос, заданный мной, наклонился и с каким-то детским торжеством показал мне белый гриб, понюхал его, потом приложил шляпку к губам».

VII

Бернар поджидал Терезу на крыльце. «У меня ничего не нашли! Ничего! — закричал он, завидев в сумраке ее фигуру. — Представь себе, у меня, при моем-то сложении, оказывается, малокровие. Невероятно, но факт! Внешность обманчива. Начну теперь курс лечения... Буду принимать капли Фаулера — в них есть мышьяк. Очень важно, чтоб у меня снова появился аппетит...»

Тереза помнила, что вначале она даже не почувствовала раздражения: все, исходившее от Бернара, меньше, чем обычно, раздражало ее (как будто все его слова и возгласы доносились откуда-то издалека). Она его не слышала, теперь она душой и телом устремилась в другой мир, где живут жадные существа, где каждый хочет одного — познавать, постигать — и, как твердил Жан с видом глубокого удовлетворения, жаждет «стать самим собой». Когда за столом она заговорила о своей встрече с ним, Бернар крикнул: «Отчего ты мне сразу не сказала? Странная ты все-таки особа! Ну как? О чем вы договорились?»

Тереза тотчас же придумала план, который и в

самом деле они потом осуществили: Жан Азеведо напишет Анне письмо, в котором в очень мягких выражениях лишит ее всякой надежды. Бернар презрительно засмеялся, когда Тереза сообщила, что этот молодой человек совсем и не домогается руки Анны. Какой-то Азеведо не мечтает жениться на мадемуазель де ла Трав! «Да ты что, с ума сошла? Просто-напросто он понял, что тут ничего не выйдет, а эти ловкачи не станут рисковать, когда заранее знают, что их карта будет бита. Какая ты, голубушка, еще наивная».

Бернар не велел зажигать лампы — из-за комаров, и поэтому не видел, каким взглядом посмотрела на него Тереза. «У меня опять появился аппетит», — говорил он. Не напрасно он ездил в Бордо — доктор возвратил ему жизнь.

«Часто ли я виделась с Жаном Азеведо? Он уехал из Аржелузa в конце октября... Раз пять или шесть мы прогуливались вместе. Особо надо сказать о той прогулке, когда мы с ним сочиняли письмо Анне. Наивный юноша, он подбирал успокаивающие слова, но, ничего ему не говоря об этом, я чувствовала всю их жестокость. Наши последние прогулки сливаются у меня в воспоминаниях. Жан Азеведо описывал мне Париж, свой товарищеский круг, и я старалась вообразить его

мир, где царит единственный закон: стать самим собой. „Вы здесь обречены лгать до самой смерти“. Почему он это сказал? С каким-то тайным умыслом? В чем он подозревал меня? „Не могу представить себе, — заявил он, — как вы можете выносить эту удушливую атмосферу. Поглядите на это огромное и однообразное пространство, на это болото, затянутое льдом, сковавшим здесь все души! Иной раз появится трещина, видна черная вода: кто-то в ней бился из последних сил, пошел ко дну, и ледяная корка вновь спаялась... ведь здесь каждый, как и повсюду, рождается со своим собственным законом, здесь, как и повсюду, у каждого своя особая судьба; и все же приходится подчиняться всеобщей печальной участи; некоторые ей противятся, и тогда в почтенных семьях происходят драмы, о которых хранят молчание. Как здесь говорят: „Надо помалкивать...““

„Это верно!“ — воскликнула я. Случалось, я расспрашивала о каком-нибудь нашем родственнике — двоюродном дедушке или бабке, чьи фотографии исчезли из всех альбомов, и никогда я не получала ответов; только про одного мне сказали: „Он исчез... его заставили исчезнуть...“

Не опасался ли Жан Азеведо, что и меня постигнет та же участь? Он уверял, что ему бы и в голову

не пришло говорить о таких вещах с Анной, так как она, несмотря на свою страстную любовь к нему, очень простодушна, вряд ли способна постоять за себя и скоро будет укрощена. „Но вы! В каждом вашем слове я чувствую, как вы изголодались, как вы алчете истины...“ Надо ли передавать Бернару в точности наши разговоры? Сущее безумие надеяться, что он в силах хоть что-нибудь понять тут! Пусть он все-таки знает, что я не сдалась без борьбы. Помню, я однажды возразила этому юноше, что он приукрашает ловкими фразами самое гнусное приятие нравственного падения. Я даже призвала на помощь нравоучительное чтение, которое нам предлагалось в лицее. „Быть самим собою? — повторила я. — Но это возможно лишь в той мере, в какой мы сами создаем свою жизнь“. (Не стоит развивать эту мысль, хотя для Бернара, пожалуй, и следовало бы ее развить.) Жан Азеведо утверждал, что нет ужаснее падения, чем отречься от самого себя. Он заявлял, что не найдется ни одного героя, ни одного святого, которому не случалось бы, да еще не раз, напрягать всю волю, чтобы преодолеть свою натуру. „Надо превзойти самого себя, чтобы обрести Бога“, — твердил он. И еще он говорил: „Принять себя — это обязывает лучших из нас бо-

роться с собою, но открыто, в честном сражении, без хитрых уловок. И нередко случается, что эти освободившиеся рабы добровольно связывают себя узами самой стеснительной религии“.

Не надо спорить с Бернаром, насколько обоснованна такая мораль, надо даже согласиться с ним, что все это — жалкие софизмы, но пусть он поймет, пусть попытается понять, как увлекательны были эти речи для женщины моего склада и что я испытывала по вечерам в нашей столовой в Аржелузе. Рядом, в кухне, Бернар снимал охотничьи сапоги, рассказывал на местном диалекте, удачна ли была охота и какую добычу он принес. Пойманные вяхири трепыхались в мешке, брошенном на стол, вздували его; Бернар ел не спеша, радуясь, что аппетит вернулся к нему, потом он с любовью отсчитывал капли Фаулера. „Это здоровье“, — твердил он. В камине пылали дрова, и за десертом Бернару нужно было только повернуть свое кресло, чтобы протянуть к огню ноги в домашних войлочных туфлях. В руках он держал „Птит жиронд“, но глаза у него слипались. Иногда он всхрапывал, но чаще дышал так тихо, что его и не слышно было. Жена Бальона шаркала шлепанцами в кухне, потом она приносила подсвечники со свечами. И воца-

рялась тишина, аржелузская тишина! Тот, кто не бывал в нашем глухом краю, не знает, что такое тишина: она окружает дом плотной темной массой, такой же, как лес, где ночью все замирало, лишь иногда ухала сова (и тогда казалось, что в темноте раздаются чьи-то рыдания).

И эту гнетущую тишину я особенно сильно ощутила после отъезда Жана Азеведо. До тех пор пока я знала, что днем снова встречусь с ним, само уж его присутствие делало безобидным мрак, сгустившийся за окнами; Жан спал где-то неподалеку, все ланды и ночная тьма были полны им. Но вот он уехал из Аржелуза, назначив мне при прощальной нашей встрече свидание через год, и выразил при этом надежду, что к тому времени я буду свободна. (Не знаю, право, сказал ли он это не задумываясь или с какой-то задней мыслью. Я склонна думать, что молодому парижанину уже стала невыносима наша тишина, наша особая, аржелузская тишина, и что мной он дорожил как единственной своей аудиторией.) Но как только мы с ним расстались, я словно вошла в бесконечный туннель, и там все сгущается, сгущается тьма. Выберусь ли я, выберусь ли на вольный воздух или задохнусь тут? До моих родов, которые произошли в январе, ничего не случилось...»

Тут Тереза в нерешительности останавливается, пытаясь отвлечься мыслями от того, что случилось в ее доме, в Аржелузе, на третий день после отъезда Жана. «Нет, нет! — думает она. — Это же не имеет никакого отношения к тому, что я должна буду сейчас объяснить Бернару. Не могу я терять время, блуждая по тропинкам, которые не ведут никуда». Но мысль человеческая упряма, невозможно помешать ей устремиться в ту сторону, куда ей захочется: Терезе не удается выбросить из памяти тот октябрьский вечер. На втором этаже, в спальне, раздевался Бернар. Тереза внизу ждала, чтобы прогорело полено, после чего ей надо было идти наверх, а пока она была счастлива хоть минутку побыть одной! Что сейчас делает Жан Азеведо? Может быть, выпивает в том маленьком баре, о котором он ей рассказывал, а может быть (ведь ночь такая теплая), катается со своим другом в автомобиле по пустынным аллеям Булонского леса. Может быть, работает за письменным столом, а вдали глухо гудит Париж. Жан сам создает для себя тишину, отвоевывает ее от грохота мира; тишина не навязана ему извне, как та тишина, что душит Терезу; тишина в Париже — дело его рук, она простирается не дальше, чем свет от его лампы,

чем полки, заставленные книгами... Вот о чем думала Тереза. Вдруг за дверью залаяла, потом заскулила собака, и знакомый, такой усталый голос, раздавшийся в прихожей, успокоил пса — Анна де ла Трав отворила дверь; она пришла из Сен-Клера пешком, темной ночью; башмаки у нее были все в грязи. На маленьком, сразу постаревшем личике лихорадочно блестели глаза. Она бросила шляпу на кресло, спросила: «Где он?»

Тереза и Жан, написав письмо и отправив его по почте, решили, что дело кончено, — они никак не думали, что Анна не захочет отказаться от своего счастья. Но разве человек уступит логическим доводам и рассуждениям, когда речь идет о самой его жизни! Анне удалось ускользнуть от надзора матери и сесть в поезд. По темной дороге к Аржелузу ее вела белесая полоса неба между вершинами сосен. «Во что бы то ни стало увидеться с ним. Если мы увидимся, я опять его завоюю. Надо увидеться с ним». И вот Анна шла, спотыкаясь, выворачивая ноги в рытвинах; она изо всех сил спешила добраться до Аржелуза. И вдруг Тереза говорит, что Жан уехал, что он в Париже. Анна не верила, отрицательно качала головой. Нет, не может быть, иначе ей не выдержать, сейчас она рухнет тут от усталости и отчаяния.

— Ты лжешь! Ты всегда лгала!

И когда Тереза возмутилась, Анна добавила:

— Да, вот уж в ком живет дух нашего семейства! Ты выдаешь себя за свободолюбивую женщину... А на деле, как только вышла замуж, сразу же стала служить семейке... Да, да, ты, разумеется, думала, что поступаешь хорошо — предаешь меня ради моего же блага, хочешь спасти, верно? Можешь не объяснять, и так все понятно.

Она толкнула входную дверь. Тереза спросила:

— Куда ты?

— В Вильмежа́, к нему.

— Я же тебе говорю, что его нет там уже два дня.

— Не верю тебе.

Она вышла. Тогда Тереза зажгла фонарь, висевший на крюке в прихожей, и двинулась вслед за ней.

— Ты ошиблась, Анна, — это дорога на Биурж, а в Вильмежа́ вон туда надо свернуть.

Они прошли через полосу тумана, поднявшегося над лугом. Проснулись собаки. Вот наконец и дубы Вильмежа; нет, это не спящий, а мертвый дом. Анна ходит вокруг этого пустого склепа, стучится, колотит в дверь кулаками. Тереза стоит неподвижно, поставив фонарь на траву. Она

видит, как легкий силуэт ее подруги приникает к каждому окну нижнего этажа. Вероятно, Анна всякий раз произносит имя любимого, но не выкрикивает его, не зовет, зная, что это бесполезно. Несколько минут ее не было видно — она зашла за дом, затем она появилась, опять подошла к двери, опустилась на крыльцо и, обхватив руками колени, уткнулась в них лицом. Тереза заставила ее подняться, вывела на дорогу. Анна шла, шатаясь, и все твердила: «Завтра утром поеду в Париж. Париж не так уж велик, я найду его в Париже...» Но говорила она это, как усталый ребенок, который больше не в силах сопротивляться и уже готов смириться.

Бернар, проснувшийся от громкого их разговора, накинул халат и ждал в гостиной. Напрасно Тереза старается прогнать воспоминание о сцене, разыгравшейся между сестрой и братом. Человек, который мог грубо схватить за руки измученную девочку, потащить ее по лестнице на третий этаж, втолкнуть в спальню и запереть дверь на ключ, — ведь это твой муж, Тереза, тот самый Бернар, который через два часа будет твоим судьей. Дух семьи вдохновляет его, избавляет от всяких колебаний. Бернар всегда, при любых обстоятельствах знает, что надлежит сделать

в интересах семьи. Ты вот с тоской и тревогой готовишь длинную защитительную речь, но ведь только люди, не имеющие принципов, могут поддаться чужим доводам. Бернару наплевать на твои оправдания: «Я знаю, что мне надо делать». Он всегда знает, что ему надо делать. Если иной раз придет в замешательство, то скажет: «Мы это обсудили в семейном кругу и признали, что...» Как можешь ты думать, что он еще не вынес тебе приговор? Судьба твоя решена бесповоротно, так что лучше постарайся уснуть.

VIII

После того как де ла Травы увезли побежденную Анну в Сен-Клер, Тереза почти до самых родов безвыездно жила в Аржелузе. Вот когда она по-настоящему изведала тишину, царившую там, именно в эти долгие ноябрьские ночи. Письмо, посланное ею Жану Азеведо, осталось без ответа. Вероятно, он нашел, что не стоит заводить скучную переписку с какой-то провинциалкой. К тому же она в положении, это не такое уж приятное воспоминание. Может быть, теперь, на расстоянии, Тереза казалась пресной этому дурачку? Для него были бы гораздо привлекательнее в женщине притворная сложность и рисовка! Разве он мог понять эту обманчивую простоту, этот прямой взгляд и всегда уверенные движения? Вероятно, он считал ее способной поймать его на слове, как это было с Анной, готовой все бросить и бежать с ним. Жан Азеведо не доверял женщинам, которые слишком быстро складывают оружие, так что нападающий не успевает снять осаду. Больше всего он боялся одержать победу, пожать плоды победы. Тереза старалась проникнуть в духовный

мир этого юноши. Но восхищавшие Жана книги, которые она выписала из Бордо, показались ей непонятными. Она жила в полной праздности. Нечего было и думать, что она станет готовить приданое для будущего ребенка, «это не ее жанр», — ехидничала г-жа де ла Трав. В деревнях немало женщин умирают родами. Тереза доводила тетю Клару до слез, уверяя, что и она умрет, как ее мать, что ей не выжить, она в этом уверена. И всегда добавляла, будто ей «все равно, что придется умереть». Какая ложь! Она еще никогда так страстно не жаждала жить, и еще никогда Бернар не выказывал такого внимания к ней. «Да он заботился вовсе не обо мне, а о том, кого я носила во чреве. Напрасно он с ужасным своим местным произношением твердил: „Возьми еще пюре... Не ешь рыбы... Ты сегодня уже и так много ходила...“ Меня это нисколько не трогало — ведь так же ухаживают за нанятой кормилицей, чтобы у нее было хорошее молоко. Свекор и свекровь берегли меня, как священный сосуд, вместилище их будущего потомства; несомненно, они в случае чего пожертвовали бы мною ради этого эмбриона. Я утратила ощущение своего собственного существования! Я была лишь лозой виноградной: в глазах всего семейства значение имел лишь

плод, который созревал во мне.»

«До конца декабря пришлось жить в потемках. Как будто еще мало было тени от бесчисленных сосен, непрерывные дожди множили и множили вокруг нашего угрюмого дома миллионы движущихся прутьев водяной решетки! Когда единственная дорога на Сен-Клер уже угрожала стать непроезжей, меня перевезли в этот городок, в другой дом, где было чуть посветлее, чем у нас в Аржелузе. Старые платаны на Большой площади еще оспаривали свои листья у ветра и дождя. Тетя Клара не пожелала переселиться в Сен-Клер, чтобы стать моей сиделкой, — старуха могла жить только в Аржелузе, но она приезжала очень часто, в любую погоду, в своем деревенском шарабане и привозила мне лакомства, которые я так любила в детстве и, по ее мнению, любила и до сих пор: серые ржаные пышки на меду, сладкий пирог по названию „фугас“ или „румаджад“. С Анной я виделась только за столом, она не обращалась ко мне ни с единым словом, с виду была тихая, смирившаяся, сразу утратила свою свежесть. Зачесанные назад, туго стянутые волосы открывали ее некрасивые восковые уши. Имени молодого Дегилема не произносили, однако г-жа де ла Трав уверяла меня, что хотя Анна еще не сказала „да“,

но уже и не говорит „нет“. Ах, как верно судил о ней Жан: немного времени понадобилось, чтобы накинуть на нее узду и усмирить ее. Бернар чувствовал себя хуже, потому что опять стал выпивать перед обедом рюмку-другую „для аппетита“. О чем говорили эти люди вокруг меня? Они много толковали о приходском священнике (мы жили как раз напротив церковного дома). Всех интересовало, например, почему кюре в течение одного дня четыре раза прошел куда-то через площадь, а возвращался, вероятно, другой дорогой...»

Помня некоторые свои разговоры с Жаном Азеведо, Тереза теперь более внимательно присматривалась к этому еще не старому священнику; он мало общался с прихожанами, и они считали его гордецом: «Здесь такие повадки не годятся». При его редких посещениях господ де ла Трав Тереза отметила, что у него высокий лоб, седые виски. У этого человека нет ни одного друга. Как он проводит вечера? Почему избрал такую жизнь? «Он строго соблюдает все правила, — говорила г-жа де ла Трав, — каждый вечер читает молитвы, но нет на нем, знаете ли, благодати. Его не назовешь благочестивым. А наше благотворительное общество он совсем

забросил». Она жаловалась, что кюре распустил оркестр, организованный попечителем общества; родители обижаются, что он больше не водит подростков на футбольные матчи. «Это очень мило, что он сидит, уткнувшись в книгу, но ведь этак недолго и приход упустить». Чтобы послушать его, Тереза несколько раз ходила в церковь. «Ну, дорогая, что это вам вздумалось? Ведь в вашем положении можно и не посещать церковные службы...» Проповеди священника касались догматов, принципов морали и были безличны. Но Терезу интересовали модуляции его голоса, его жесты, то или иное слово, казавшееся более весомым, чем другие... Ах, он, может быть, помог бы ей разобраться в путанице ее мыслей и чувств, ведь он так отличался от всех, он тоже принимал жизнь трагически; к своему внутреннему одиночеству он присоединил еще и ту пустыню, которая создается вокруг человека, надевшего сутану. Какую поддержку находил он в ежедневном исполнении церковных обрядов? Терезе хотелось пойти к мессе в будний день, когда никого не бывает в церкви, кроме мальчика-служки, и священник, склонившись над кусочком хлеба, бормочет слова литургии. Но ее любопытство показалось бы странным всему

семейству и жителям городка: стали бы кричать, что она обратилась в лоно христианства.

Сколько ни страдала Тереза в эту пору, но лишь после родов она по-настоящему почувствовала, что больше не в силах выносить такую жизнь. Внешне это ни в чем не сказывалось, между ней и Бернаром не происходило никаких сцен, с его родителями она держала себя даже более почтительно, чем он сам. Трагедия как раз и была в том, что не находилось ни малейших причин для разрыва и не предвиделось никаких событий, которые помешали бы тоскливой обыденности идти своим чередом до самой смерти. При разногласиях должна быть какая-то почва для столкновений, но Тереза почти не видела Бернара и еще меньше — его родителей; да их слова и не доходили до нее, она и не подумала бы отвечать на их замечания. Они ведь говорили на разных языках. В самые важные слова они вкладывали разный смысл. А если у Терезы вырывалось какое-нибудь искреннее восклицание, то ведь в семействе уже было раз и навсегда установлено, что она обожает дерзкие выпады. «Я делаю вид, что не слышу, — говорила г-жа де ла Трав, — а если она настаивает на своем, я не придаю значения ее словам. Она знает, что с нами эти штучки

не пройдут».

И все же г-жа де ла Трав с трудом переносила странные причуды снохи: Тереза терпеть не могла, когда знакомые ахали, уверяя, что маленькая Мари вылитая мать. Обычные в этих случаях шуточки («Ну, уж от этой дочки вы не отречетесь...») приводили ее в крайнее раздражение, которое ей не всегда удавалось скрыть. «Да она ничуть на меня не похожа, — твердила Тереза. — Посмотрите, какая она смуглая, глаза черные, как угольки. И вот поглядите на мои фотографии — я была худенькая, белесая девчушка».

Она не желала, чтобы Мари походила на нее. Мать хотела, чтобы у нее не было ничего общего с этой крошкой, плотью от плоти ее. И уже по городу пошли слухи, что Тереза Дескейру не страдает избытком материнской нежности. Но г-жа де ла Трав уверяла, что Тереза по-своему любит дочку. «Конечно, нечего требовать, чтобы она следила, как купают малютку, меняют ей пеленки, — эти заботы ей не свойственны, но я вижу, как она целыми вечерами просиживает у колыбельки, даже воздерживается тогда от курения и все смотрит, смотрит на спящую крошку... Кстати сказать, у нас превосходная, отлично вышколенная няня, да и наша Анна тут.

Ах, вот уж из Анны, можно поклясться, выйдет замечательная мамаша!..» И правда, с тех пор как в доме появился ребенок, Анна возродилась к жизни. Колыбель всегда привлекает женщину, но Анна была просто счастлива, когда брала малютку на руки. Чтобы свободнее было приходить в детскую, она помирилась с Терезой, ко от былой нежной их дружбы остались лишь привычные ласковые жесты и прозвища. Анна очень боялась материнской ревности Терезы: «Ведь малютка знает меня лучше, чем свою маму: как увидит — смеется. В прошлый раз Мари была у меня на руках, и когда Тереза хотела ее взять, девочка заплакала, раскричалась. Она так явно любит меня больше, чем маму, что мне даже неловко бывает».

Анна могла бы и не испытывать неловкости. В эту полосу своей жизни Тереза была далека от дочери, как и от всего остального. И людей, и вещи, и свое собственное тело, и даже свою душу она воспринимала словно какой-то мираж, словно туман, повисший в воздухе. И в этом небытии только один Бернар обретал чудовищную реальность: его плотная фигура, гнусавый голос, безапелляционный тон, самодовольство. Вырваться из этого мира... Но как? И куда идти?

Первые жаркие дни действовали на Терезу угнетающе. Однако ничто не предвещало поступка, который она уже готова была совершить. Что было в этом году? Она не может вспомнить никаких неприятностей, никаких ссор, помнит только, что в день Праздника Тела Господня Бернар был как-то особенно противен ей, когда она смотрела утром в щель между ставнями на крестный ход. Бернар оказался, пожалуй, единственным мужчиной в этой процессии. Городок вмиг опустел, как будто на улицу вместо традиционного агнца выпустили льва... Люди попрятались, чтобы им не пришлось обнажать голову или становиться на колени. Лишь только опасность миновала, двери пооткрывались одна за другой. Тереза внимательно смотрела на священника, который шел, почти что зажмурив глаза, и держал обеими руками свою странную ношу. Губы его шевелились: к кому взывал он с таким скорбным видом? И сразу же вслед за ним важно вышагивал Бернар — он «исполнял свой долг».

Шла неделя за неделей, и за все это время не выпало ни одной капли дождя. Бернар жил в непрестанном страхе — боялся лесного пожара, и у него снова начались боли в сердце. В стороне Луша сгорело пятьсот гектаров сосняка. «Если

бы дул северный ветер, погибли бы мои сосны в Балисаке». Тереза все ждала чего-то, чего — и сама не знала, от этого ясного, невозмутимого неба... Может, никогда больше не будет дождя... И в один прекрасный день затрещит в огне весь лес кругом, сгорит даже сам городок. Почему, спрашивается, в ландах никогда не горят селения? Как несправедливо, что пламя всегда подбирается к деревьям, а людей не трогает. В семействе Дескейру без конца говорили, спорили о причинах бедствия: может, кто-то бросил непогасший окурок. А может, это поджог? Тереза мечтала, что вот она встанет ночью, выйдет тихонько из дому, заберется в тот лес, где больше всего вереску, бросит там зажженную сигарету, и на заре огромное облако дыма затянет небо... Но она гнала от себя эту мысль: любовь к соснам была у нее в крови — не на сосны обращала она свою ненависть.

Настала минута открыто взглянуть на то, что она сделала. Какое объяснение дать Бернару? Ничего не остается, как напомнить ему шаг за шагом, как все это случилось. Это было в день большого пожара около Мано. В столовую, где наспех завтракала вся семья, то и дело входили люди. Одни уверяли, что горит как будто очень далеко от Сен-Клера, другие утверждали, что уже

пора бить в набат. Воздух в этот знойный день был пропитан запахом горящей смолы, а солнце казалось запачканным сажей. Перед глазами Терезы встает лицо Бернара: повернувшись к Бальону, он слушает его сообщение, а сильной волосатой рукой держит над стаканом пузырек с лекарством, не замечая, что капли Фаулера одна за другой падают и падают в воду. Он залпом выпил стакан, и Терезе, разомлевшей от жары, даже и в голову не пришло сказать ему, что он выпил двойную дозу лекарства. Все встали из-за стола, только она одна осталась, продолжая лениво раскрывать ножичком свежий миндаль, чуждая всему этому волнению, равнодушная к этой драме, да и ко всякой другой, кроме своей собственной. В набат не стали бить. Бернар наконец вернулся. «Ну хоть раз ты, Тереза, правильно сделала, что не волновалась, — горит далеко, в стороне Мано... — Потом спросил: — А капли я принял?» — и, не дождавшись ответа, накапал в стакан лекарства. Тереза промолчала — вероятно, от лени, от усталости. На что она надеялась в эту минуту? «Не может же быть, что я промолчала умышленно!»

Однако и ночью, когда у постели Бернара, который мучился рвотой и плакал, доктор Педмэ стал

расспрашивать, что произошло днем, она ничего не сказала о том, что случилось за столом. А ведь так было легко, не бросая на себя тень, обратить внимание доктора на то, что Бернар принял много мышьяку. Могла же она произнести такую, например, фразу: «В ту минуту до меня как-то не дошло... Мы все ужасно взволновались из-за этого пожара... Но теперь я готова поклясться, что он принял двойную дозу». Однако она промолчала. Было ли у нее хоть поползновение сказать это? Темный замысел, который за завтраком, неведомо для нее самой, уже был в ее душе, начал всплывать из самых глубин ее существа, еще бесформенный, но уже наполовину осознанный.

После ухода доктора она долго смотрела на уснувшего наконец Бернара и думала: «Нет же доказательств, что он заболел из-за того. Может быть, у него приступ аппендицита, хотя никаких других симптомов и нет... у него, наверное, инфекционный грипп». Но через день Бернар был уже на ногах. «Весьма возможно, что все было именно из-за того». Но Тереза не могла бы за это поручиться, а ей так хотелось быть уверенной. Вот и все. «У меня вовсе не было такого чувства, что я во власти чудовищного искушения, мне казалось, что мною движет любопытство, — прав-

да, удовлетворить его было небезопасно. Но в первый день, когда я, прежде чем Бернар вышел в столовую, накапала лекарство в его стакан, помню, я твердила себе: «Один-единственный раз, только чтобы выяснить... тогда я буду знать, из-за того ли он заболел. Один-единственный раз — и конец».

Поезд замедляет ход, дает долгий гудок, снова идет быстрее. Два-три огня в темноте: станция Сен-Клер. Но Терезе больше уже ничего не надо анализировать: она ринулась в зияющую пропасть преступления, и преступление затянуло ее; что последовало за ним, Бернар знает так же хорошо, как она сама; болезнь его внезапно вернулась, и Тереза ухаживала за ним дни и ночи, хотя, казалось, сама выбилась из сил. Она не могла тогда проглотить ни куска. Бернар даже уговаривал ее попробовать полечиться каплями Фаулера, и она взяла рецепт у доктора Педмэ. Бедняга доктор! Как он удивлялся, что Бернара рвет какой-то зеленоватой жидкостью. И никогда бы он не поверил, что у больного может быть такое несоответствие между пульсом и температурой; ему неоднократно случалось констатировать, что при паратифе пульс может быть ровным, хотя больного сильно лихорадит, но что означал этот

частый пульс при температуре ниже нормальной? Несомненно, инфекционный грипп. Грипп — этим все сказано.

Госпожа де ла Трав думала было вызвать для консультации известного врача, но ей не хотелось обижать доктора Педмэ, старого друга дома. К тому же Тереза опасалась напугать Бернара. Однако в середине августа, после особенно тревожного приступа, доктор Педмэ сам пожелал услышать мнение одного из своих авторитетных коллег. По счастью, на следующий день состояние Бернара улучшилось, через три недели уже говорили, что он выздоравливает. «Ловко я отделался, — шутил Педмэ. — Вызвали бы светило медицинского мира, и вся слава излечения досталась бы ему, а не мне».

Бернар потребовал, чтобы его перевезли в Аржелуз, рассчитывая, что его окончательно вылечит осенняя охота на вяхирей. Терезе пришлось тогда нелегко, — острый ревматизм приковал тетю Клару к постели, и все пало на молодую хозяйку: двое больных в доме, ребенок, не считая всяких хлопот и дел, лежавших на тете Кларе. Тереза с большой охотой старалась заменить ее в заботах о бедняках Аржелуза. Она обегала все фермы, заказала по рецептам лекарства для за-

болевших, как это делала тетя Клара, заплатила за них из своего кошелька. Ее не печалило, что ферма Вильмежа заперта. Она больше не думала о Жане Азеведо, да и ни о ком другом. Она шла одиноко через туннель в головокружительной темноте, она должна была идти, идти, не размышляя, как животное, чтобы выбраться из черного мрака удушливого дыма, вырваться на чистый воздух. Скорее! Скорее!

В начале декабря болезнь с новой силой обрушилась на Бернара: как-то утром он проснулся, дрожа от озноба, а ноги у него онемели, ничего не чувствовали. Что же за этим последовало? Г-н де ла Трав вечером привез из Бордо врача для консультации; осмотрев больного, тот долго молчал. (Тереза держала в поднятой руке лампу, в жена Бальона вспоминала потом, что хозяйка была бледна как смерть.) На скудно освещенной лестничной площадке Педмэ, понизив голос, чтоб не услышала насторожившаяся Тереза, рассказал своему коллеге, что аптекарь Даркей показал ему два подделанных рецепта, подписанных, однако, им, доктором Педмэ; на одном рецепте чья-то преступная рука добавила: «Капли Фаулера», а на другом выписаны были довольно сильные дозы хлороформа, дигиталина и аконитина. Бальон

принес в аптеку эти рецепты вместе со многими другими. Даркей встревожился, что отпустил ядовитые вещества, и на следующий день прибежал к Педмэ... Да Бернар знает обо всем этом не хуже самой Терезы. Его тотчас отправили в санитарной карете в Бордо, положили там в клинику, и с того дня ему стало лучше. Тереза осталась в Аржелузе одна, но, каким бы глубоким ни было ее одиночество, она слышала вокруг нараставший гул: забившийся в нору зверь чуял, что приближается стая псов. Она изнемогла, словно после неистового бега, словно бежала из последних сил и была совсем уже у цели, уже протянула руку, как вдруг ее швырнули на землю, и она упала как подкошенная.

Однажды вечером в конце зимы приехал отец и заклинал ее снять с себя обвинение. Все еще можно спасти. Педмэ согласился взять обратно жалобу, поданную им в суд, заявив, будто уже не может сказать с уверенностью, что один из рецептов не написан целиком его рукой. Что касается аконитина, хлороформа и дигиталина, он, конечно, не мог прописать их в таких больших дозах, но поскольку в крови больного не обнаружено ни малейших следов этих веществ...

Тереза вспоминает сцену объяснения с отцом,

происходившую у постели тети Клары. Им не хотелось зажигать лампу, и комнату освещали только отблески огня, пылавшего в камине. Тереза говорила монотонно, как школьница, вызубрившая урок (этот урок она вытвердила в долгие бессонные ночи):

— Мне встретился на дороге какой-то человек — не здешний, не из Аржелуза. И он сказал мне, что раз я посылаю кого-то в аптеку Даркея, то он очень просит заказать там лекарства и по его рецепту — ему самому не хочется показываться в аптеке, так как он должен Даркею деньги... Он не сообщил мне ни своей фамилии, ни адреса — сказал, что сам придет ко мне за лекарством...

— Тереза, придумай что-нибудь другое! Умоляю тебя во имя нашей семейной чести! Придумай, несчастная, что-нибудь другое!..

Отец упрямо повторял свои упреки, глухая тетка, приподнявшись на подушках, тщетно прислушивалась и, чувствуя нависшую над Терезой смертельную опасность, стонала: «Что он тебе говорит? Чего им от тебя нужно? Тебе хотят сделать что-то плохое?»

Тереза нашла в себе силы улыбнуться больной старухе и взять ее за руку, а сама, как школьница на уроке катехизиса, монотонно твердила: «Мне

встретился на дороге человек. Было уже темно, так что я не разглядела его лица, он не сказал мне, на какой ферме живет... Недавно вечером он приходил за своим лекарством... К несчастью, никто в доме его не заметил».

IX

Вот наконец Сен-Клер. Тереза вышла из вагона, ее никто не узнал. Пока Бальон сдавал ее билет, она обогнула здание вокзала и, лавируя между штабелями досок, вышла на дорогу, где стоял шарабан.

Теперь этот шарабан ее убежище: на разбитой дороге нечего бояться встречи со знакомыми. Но вся история ее преступления, восстановленная в памяти с таким трудом, рухнула, ничего не осталось от подготовленной исповеди. Нет, ей нечего сказать в свою защиту, даже невозможно привести какую-нибудь причину; проще всего — молчать или же только отвечать на вопросы. Чего ей теперь бояться? Минует ночь, как все ночи, завтра взойдет солнце; она уверена, что выбралась из беды, что бы дальше ни случилось. И ничего не может случиться хуже того равнодушия, той отчужденности, которые отделяют ее от всего мира, даже от нее самой. Да, смерть при жизни — она ощущает в себе смерть, насколько может это ощущать живой человек.

Глаза ее привыкли к темноте, и на повороте

дороги она разглядела ферму, низкие постройки которой походили на спящих животных, лежащих на земле. Здесь, бывало, Анна всегда пугалась собаки, бросавшейся под колеса ее велосипеда. Дальше заросли ольхи показывали, что там сырая ложбинка, где в самые знойные дни прохлада овевала разгоревшиеся щеки подружек. Девочка на велосипеде, ее сверкающие в улыбке белые зубы, ее шляпа с широкими полями, защищавшими от солнца, треньканье велосипедного звонка и торжествующий голос: «Смотри! Еду, не держась руками за руль!» — в душе Терезы еще жив этот смутный образ, все, что она может найти в прошлом, на чем может отдохнуть измученное сердце. И она машинально твердит под ритмическое цоканье копыт старой лошади, трусившей рысцой: «Бесполезность моей жизни — и ничтожность моей жизни — одиночество безмерное мое — безысходная моя судьба». То единственное, чем все могло бы разрешиться, Бернар не сделает. Ах, если бы он мог открыть ей объятия, ни о чем не спрашивая! Если б она могла припасть головой к человеческой груди и заплакать, ощущая ее живое тепло.

Она заметила тот косогор у хлебного поля, где когда-то в жаркий день сидел Жан Азеведо. Поду-

мать только, ведь она воображала в ту пору, что в мире есть такое место, где все ее существо могло бы расцвести, — среди людей, которые понимали бы ее, быть может, восхищались бы ею и дарили ей свою любовь! Но одиночество привязалось к ней, как язвы к прокаженному. «Никто не может ничего сделать для меня; никто не может ничего сделать против меня».

— Вон наши навстречу идут.

Бальон натянул вожжи. Приближались две тени. Значит, Бернар, такой еще слабый, вышел ей навстречу — ему, значит, не терпится узнать, чем все кончилось в суде. Тереза приподнялась на сиденье и еще издали крикнула: «Дело прекратили!» В ответ раздалась короткая реплика: «Это было известно». Бернар помог старухе тетке взобраться в шарабан и разобрал вожжи. Бальону велел дальше идти пешком. Тетя Клара сидела посередине, между супругами. Пришлось кричать ей в самое ухо, что все уладилось (впрочем, у нее было весьма смутное представление о случившейся драме). Как обычно, глухая старуха начала говорить, говорить до потери дыхания, заявила, что «у них всегда одна тактика, что это повторяется дело Дрейфуса: „Клевещите, клевещите — всегда что-нибудь останется“. Они забрали си-

лу, и республиканцы зря не держатся начеку. Как только этим зверям вонючим дают поблажку, они на людей набрасываются...» Ее кудахтанье избавляло супругов от необходимости разговаривать — они не обменялись ни единым словом.

Потом тетя Клара, тяжело дыша и отдуваясь, поднялась по лестнице с зажженной свечой в подсвечнике.

— А вы еще не ложитесь? Тереза, должно быть, измучилась. В спальне тебе оставили, дорогая, чашку бульона и холодного цыпленка.

Но супруги все еще стояли в прихожей. Старуха видела, как Бернар отворил дверь в гостиную, пропустил первой Терезу и скрылся за дверью вслед за ней. Не будь этой проклятой глухоты, она бы уж приникла ухом к двери... а теперь, что ж, никто и не думает ее остерегаться — она будто заживо замурованная. Все же тетя Клара погасила свечу, ощупью спустилась на первый этаж, поглядела в замочную скважину: Бернар как раз переставлял лампу, лицо у него было ярко освещено, оно казалось испуганным и вместе с тем торжественным. Тереза сидела спиной к двери; накидку и шляпу она бросила на кресло, ноги протянула к огню, и от ее мокрых ботинок поднимался пар. На мгновение она повернула

голову к мужу, и старуха тетка обрадовалась, увидев, что Тереза улыбается.

Тереза улыбалась. В те немногие минуты, когда она прошла рядом с Бернаром короткое расстояние от конюшни до дома, она вдруг поняла, или вообразила, будто поняла, как ей надо себя вести. При первом же взгляде на Бернара рухнули все ее надежды объяснить ему свой проступок, довериться ему. Как меняются в разлуке наши представления о людях, которых мы хорошо знаем! Всю дорогу она безотчетно старалась создать новый образ Бернара, найти в нем человека, способного ее понять или хотя бы попытаться понять, но с первого же взгляда увидела его таким, каким был он в действительности, — человеком, который никогда, ни разу в жизни не мог поставить себя на место другого и попытаться увидеть то, что видит твой противник. Нет, право, разве Бернар стал бы ее слушать? Он ходил взад и вперед по сырой комнате с низким потолком, и под его ногами трещал подгнивший местами пол. На жену он не смотрел — он весь был поглощен приготовленной заранее речью. Да и Тереза знала, что она сейчас ему скажет. Самый простым всегда оказывается тот выход, о каком мы прежде и не думали. Сейчас она скажет ему: «Я исчезну,

Бернар. Не беспокойтесь обо мне. Если хотите, исчезну немедленно, сегодня же ночью. Ни лес, ни темнота меня не пугают. Мы с ними старые друзья, давно знаем друг друга. Я создана по образу и подобию этого бесплодного края, где нет ничего живого, кроме перелетных птиц да диких кабанов. Я согласна стать изгнанницей. Сожгите все мои фотографии, и пусть никто, даже моя дочь, не услышит больше моего имени, и пусть вся ваша семья считает, что меня как бы и не было никогда».

И Тереза уже открыла рот, уже произнесла:

— Позвольте мне исчезнуть, Бернар.

При звуках ее голоса Бернар обернулся, бросился к ней из дальнего угла комнаты; на лбу у него вздулись жилы, он лепетал заикаясь:

— Что?! Вы осмеливаетесь иметь свое мнение? Осмеливаетесь выражать какие-то желания? Довольно! Ни слова больше! Вы должны только слушать, получать от меня распоряжения, беспрекословно подчиняться моим решениям.

Теперь он уже не заикался, теперь он говорил тщательно подготовленными фразами. Облокотись на каминную полку, он изъяснялся строгим тоном, вытащил из кармана исписанный листок бумаги и заглядывал в него. У Терезы пропал

страх, ей даже хотелось расхохотаться. Он был смешон, просто-напросто смешон. Ну какое значение имеет то, что он там декламирует, да еще с таким противным произношением, над которым не смеются только в Сен-Клере? Все равно она уедет. К чему вся эта трагедия? Подумаешь, велика важность, если бы не стало этого дурака! На листке белой бумаги, дрожавшем в его руке, четко выделялись его неухоженные ногти; манжет, конечно, он не носит, он из числа тех мужланов, которые кажутся чучелами, когда вылезают из своего захолустья, а жизнь их ровно никому не нужна — ни для какого-нибудь дела, ни для какой-нибудь идеи, ни для какого-нибудь человека. Вообще, просто по привычке придают такое непомерное значение любой человеческой жизни. Робеспьер был прав, и Наполеон был прав, и другие... Бернар заметил, что она улыбается, и, рассвирепев, повысил голос. Терезе волей-неволей пришлось слушать:

— Но вы в моих руках!.. Понятно это вам? Вы должны подчиняться решениям, принятым нами на семейном совете, в противном случае...

— Что в противном случае?

Она откинула притворное равнодушие, заговорила дерзким и насмешливым тоном, даже

крикнула:

— Слишком поздно! Вы дали суду показания в мою пользу и уже не можете взять их обратно. Иначе вас привлекут за лжесвидетельство...

— Всегда может открыться какой-нибудь новый факт. У меня в ящике секретера заперто неоспоримое доказательство. Срока давности, слава богу, тут не установлено.

Она вздрогнула. Спросила:

— Чего вы хотите от меня?

Он стал рыться в своих записках, а Тереза несколько секунд вслушивалась в мертвую тишину Аржелуза. До часа переклички петухов было еще далеко, ни один ручеек, ни одна струйка воды не журчала в этой пустыне, ни малейший ветерок не шевелил вершины бесчисленных сосен.

— Я исхожу не из своих личных соображений. Сам я стушевываюсь, для меня важны только интересы семьи. Все мои решения всегда были продиктованы интересами семьи. Ради чести семьи я согласился обмануть правосудие. Пусть меня судит Бог.

Этот высокопарный тон коробил Терезу. Ей хотелось попросить Бернара говорить попроще.

— Для нашей семьи важно, чтобы нас с вами

считали живущими в супружеском согласии и чтобы я, по мнению общества, был уверен в вашей невиновности. С другой стороны, я хочу как можно надежнее уберечь себя...

— Я вам внушаю страх, Бернар?

Он пробормотал:

— Страх? Нет. Ужас! — И продолжил дальше свою речь: — Давайте договоримся поскорее, пусть все будет решено раз и навсегда. Завтра мы с вами выедем из этого дома и поселимся в доме, принадлежащем нашей семье, — я не хочу, чтобы ваша тетка постоянно торчала у меня перед глазами. Еду вам будет подавать жена Бальона в вашу спальню; во все остальные комнаты вам входить запрещается; бегать по лесу можете сколько угодно. По воскресеньям мы вместе будем ездить к мессе в Сен-Клер: надо, чтобы люди видели, что вы идете со мной под руку; а в первый четверг каждого месяца, когда в Б. бывает ярмарка, мы в открытой коляске будем приезжать в гости к вашему отцу, как мы это делали раньше.

— А Мари?

— Мари завтра уезжает со своей няней в Сен-Клер. Затем моя мать увезет ее на юг под предлогом поправления здоровья. Я полагаю, вы и не рассчитывали, что вам оставят дочь? Ее

тоже надо укрыть от опасности. Ведь в случае моей смерти она по достижении двадцати одного года вступит во владение наследством. Отчего же после мужа не уничтожить и ребенка?

Тереза вскочила, едва сдержав крик.

— Так вы думаете, что я это сделала из-за ваших сосен?

Значит, этот дурак не увидел ни одного из множества тайных истоков ее преступления и придумал самую низменную причину.

— Разумеется, из-за сосен... А для чего же иначе? Надо искать по методу исключения. Попробуйте указать какой-нибудь другой мотив... Впрочем, это не имеет значения и уже нисколько не интересует меня, я больше не задаюсь таким вопросом, вы теперь ничто, но — увы! — существует имя, которое вы носите. Через несколько месяцев, когда общественное мнение будет считать, что мы живем в добром согласии, Анна выйдет за молодого Дегилема... Вам известно, что Дегилемы потребовали отсрочки? Они хотят еще поразмыслить... И после свадьбы Анны я смогу наконец поселиться в Сен-Клере, а вы — вы останетесь здесь. Под предлогом неврастении или чего-нибудь другого...

— Сумасшествия, например.

— Нет, это в дальнейшем повредило бы Мари. Но уважительные причины всегда найдутся. Вот так-то.

Тереза тихо сказала:

— В Аржелузе... до самой смерти?..

Она подошла к окну, растворила его. В эту минуту Бернар испытывал искреннюю радость: он всегда немного робел перед этой женщиной, чувствовал себя приниженным. Но как он господствовал над ней в этот вечер! Она должна понять, что все презирают ее! Он гордился своей сдержанностью. Г-жа де ла Трав без конца твердила ему, что он просто святой человек, вся семья восхваляла его благородство; впервые в жизни он чувствовал величие своей души. Когда ему в лечебнице с величайшими предосторожностями открыли, что Тереза покушалась на его жизнь, он проявил хладнокровие, за которое его превозносили, но это не стоило ему никаких усилий: ведь ничто не имеет действительно большого значения для людей, неспособных любить. Поскольку в сердце Бернара не было любви, он испытал лишь трепетную радость избавления от страшной опасности; так может чувствовать себя человек, вдруг узнавший, что он, сам того не ведая, долгие годы жил в тесной близости с буйным сумасшедшим.

Но в этот вечер Бернар почувствовал свою силу — он был господином положения. Его восхищало сознание, что никакие трудности жизни не могут сломить такого прямого и здравомыслящего человека, как он; сразу же после налетевшей бури он готов был утверждать, что каждый сам виноват в своем несчастье. Страшнейшая драма произошла у него, а он вот «справился» с ней, как справлялся с любым делом. О его беде почти что и знать не будут, приличия соблюдены, никто больше не вздумает жалеть его (он не хотел, чтоб его жалели). Что унизительного в том, что он женился на чудовище, раз он в конечном счете укротил его? Кстати сказать, в холостяцкой жизни есть свои приятные стороны, а оттого, что он заглянул смерти в глаза и чудом избежал ее, у него необычайно обострились все его страсти — любовь к своим владениям, к охоте, к своему автомобилю, к вкусной еде, к хорошему вину — словом, к жизни.

Тереза долго стояла у окна; она смутно видела белевшую в темноте дорожку, слышала запах хризантем, защищенных садовой решеткой от овечьих отар. За оградой черной стеной вздымались дубы, скрывая сосны, но влажный ночной воздух был пропитан запахом смолы. Тереза

знала, что сосновый бор окружает дом, словно вражеские полчища, невидимые, но подступившие совсем близко. И вот эти сумрачные стражи, чьи глухие жалобы она слышит, будут видеть, как она томится тут в долгие зимы, как она изнывает знойным летом от жары, они станут свидетелями ее медленной смерти от удушья. Она закрыла окно и подошла к Бернару.

— Так вы намерены силой удержать меня здесь?

— Называйте это как угодно, но помните, что отсюда вы выйдете только со связанными руками.

— Зачем преувеличивать? Я же вас знаю: не такой уж вы злой, каким стараетесь казаться. Неужели вы хотите, чтобы на ваше семейство пал такой позор? Нет, на этот счет я спокойна.

Тогда Бернар, как человек рассудительный, все хорошо взвесивший, объяснил ей, что бегство означало бы, что она признает себя виновной. Позор обрушится на их семейство, и избегнуть его можно будет только одним способом: отсечь зараженную часть тела, отречься от преступницы перед лицом всех людей.

— Именно к этому решению сперва и склонялась моя мать. Мы даже хотели предоставить правосудию идти своим путем, не будь тут за-

мешана судьба Анны и судьба Мари. Но сделать это еще не поздно. Не торопитесь с ответом. Я прощаюсь с вами до завтра.

Тереза сказала вполголоса:

— У меня еще отец есть.

— Отец? Но мы с ним вполне солидарны. У него своя жизнь, политическая карьера, его партия, идеи, которые он защищает. Он думает только о том, как бы замять это скандальное дело, замять во что бы то ни стало. Согласитесь, что он немало сделал для вас. Ведь если следствие вели спустя рукава, то именно благодаря ему. Да, несомненно, он уже и выразил вам свою волю, в категорической форме выразил. Разве не так?

Бернар больше не повышал голоса, вновь был почти вежливым. Нельзя сказать, что ему стало жаль Терезу. Но эта женщина, которая, казалось, даже не дышала, была повергнута ниц, заняла наконец подобающее ей место. Все пришло в порядок. Он с гордостью думал, что у кого-нибудь другого счастье всей жизни рухнуло бы от такого удара, который обрушился на него, Бернара Дескейру, а он вот сумел выправить положение. Каждый человек может ошибиться, да, относительно Терезы, можно сказать, ошибались решительно все, даже г-жа де ла Трав, обычно

очень быстро и верно выносившая суждения о своих знакомых. И все дело в том, что теперь не придают особого значения принципам и не замечают, насколько опасно то воспитание, какое получила Тереза. Конечно, она — чудовище, но что бы там о ней ни говорили, а если б она верила в Бога... страх — первая ступень к благоразумию. Так полагал Бернар. А еще он думал, что весь город жаждет насладиться зрелищем позора их семьи, но как же обыватели будут разочарованы, видя каждое воскресенье за мессой дружную супружескую чету. Право, хоть бы поскорее настало воскресенье, хочется посмотреть на эти физиономии... А справедливая кара, кстати сказать, от этого ничего не потеряет. Он взял со стола лампу и держал ее в высоко поднятой руке, свет падал на склоненную голову Терезы.

— Вы еще не идете к себе в спальню?

Тереза, казалось, не слышала. Он вышел, оставив ее в темноте. На нижней ступени лестницы сидела, скорчившись, тетя Клара. Видя, что она с беспокойством смотрит на него, Бернар заставил себя улыбнуться и, взяв ее под локоть, помог ей подняться. Но она упиралась, словно старая собака, не желающая отходить от постели умирающего хозяина. Бернар поставил лампу на

каменный пол и крикнул тете Кларе в ухо, что Тереза уже чувствует себя гораздо лучше, но ей хочется побыть несколько минут одной.

— Вы же знаете ее причуды.

Да, старуха знала ее причуды, на свое несчастье, она не раз входила к племяннице как раз в то время, когда той хотелось побыть одной; зачастую стоило тете Кларе приотворить дверь, и она уже чувствовала себя непрошеной гостьей.

Она с трудом поднялась и, опираясь на руку Бернара, добралась до своей комнаты, расположенной над большой гостиной. Бернар вошел вслед за ней, заботливо зажег для нее свечу, стоявшую на столе, затем, поцеловав ее в лоб, вышел Старуха не сводила с него глаз. Чего только не умела она разгадать по лицам людей, которых не могла слышать! Она выждала, когда Бернар войдет к себе в спальню, тихонько отворила свою дверь... но увидела, что он еще стоит на лестничной площадке и, опершись на перила, свертывает сигарету; она поспешно юркнула обратно, ноги у нее дрожали, дыхание перехватило, она не в силах была раздеться, так и лежала на постели одетая, с открытыми глазами.

X

А в гостиной сидела в темноте Тереза. Под пеплом, покрывавшим угли, в камине еще тлел огонь. Тереза не двигалась. Теперь, когда уже было поздно, в памяти всплывали обрывки исповеди, которую она подготовила в поезде. Но стоит ли корить себя за то, что она не воспользовалась этим обдуманным признанием? По правде говоря, столь складная история не очень соответствовала действительности. Зачем, например, ей вздумалось придать такое большое значение ее разговорам с Жаном Азеведо? Вот глупость! Как будто разглагольствования этого юнца могли идти в счет! Нет, конечно, нет! Она повиновалась глубокому, непреложному закону. Она не погубила этой семьи — так теперь семья погубит ее, у них имеются основания считать ее чудовищем, но и она тоже считает их чудовищами. Ничем не проявляя внешне своих намерений, они хотят не спеша, действуя методично, уничтожить ее. «Теперь против меня пустят в ход весь мощный семейный механизм. Я ведь не сумела ни сломать его, ни выбраться из-под его колес. Совершенно

бесполезно искать другие причины, кроме основной: „все дело в том, что они — это они, а я — это я“... Носить маску, стараться соблюдать приличия, обманывать. У меня для этого и на два года не хватило терпения; подумать только, что другие люди, такие же люди, как я, терпят до самой смерти, — вероятно, им помогает природная способность приноравливаться к обстоятельствам, усыпляющая сила привычки, и в конце концов они тупеют и погружаются в сон, зато остаются в лоне всемогущей семьи. Но я-то, я-то, я-то?..»

Она встала, растворила окно. Потянуло предрассветным холодом. Почему бы ей не убежать? Стоит только вылезти из окна. Бросятся они в погоню за ней? Отдадут ее опять в руки судебных властей? Можно все-таки попытать счастья. Будь что будет, только бы не эта бесконечная агония. Тереза уже пододвинула кресло, приставила его к подоконнику. Но ведь у нее нет денег. Ей принадлежат тысячи, тысячи сосен, и все это ни к чему: без разрешения Бернара она не может получить ни единого гроша. Лучше уж пуститься бежать напрямик через ланды, как бежал когда-то Дагер, убийца, за которым гнались, — Тереза в детстве чувствовала к нему беспредельную жалость (как ей запомнились жандармы, искавшие его; жена

Бальона угощала их в кухне вином); а напала на след несчастного Дагера собака господ Дескейру. Его схватили полумертвого от голода в зарослях вереска. Тереза видела, как его провезли в телеге на соломе связанным по рукам и по ногам. Говорили, что он умер на арестантской барже, не доехав до Кайенны. Арестантская баржа... Каторга... А разве они не способны отдать и ее в руки правосудия, как собирались сделать? О какой это улике говорил Бернар? Лжет, вероятно... если только не нашел в кармане старой пелерины пакетик с ядом...

Надо проверить, решила Тереза. Она ощупью стала подниматься по лестнице. Чем выше поднималась, тем становилось светлее, — наверно, уже заря светит в окно. Вот наконец лестничная площадка у чердака, на ней шкаф, где висит старая одежда, которую до сих пор никому не отдают, потому что надевают ее на охоту. В выцветшей пелерине есть глубокий карман; тетя Клара клала туда свое вязанье в те времена, когда и она подстерегала в хижине вяхирей. Тереза засовывает в карман руку и вытаскивает запечатанный пакетик:

Хлороформ — 10 граммов.

Аконитин — 2 грамма.
Дигиталин — 0,2 грамма.

Она перечитывает эти слова, эти цифры. Умереть. Она всегда безумно боялась смерти. Главное, не смотреть смерти в глаза, думать только о том, что надо сделать: налить в стакан воды, растворить в ней порошок, выпить залпом, вытянуться на постели, закрыть глаза. Стараться не думать о том, что будет после смерти. Почему боятся вечного сна больше, чем всякого другого? Если ее сейчас кинуло в дрожь, то только потому, что на рассвете всегда бывает холодно. Тереза спускается по ступенькам, останавливается у той комнаты, где спит Мари. Нянька храпит так громко, словно рычит какой-то зверь. Тереза тихонько входит. Сквозь щели в ставнях пробивается занимающийся дневной свет. В тени белеет узкая железная кроватка. На одеяльце лежат два крошечных кулачка. В подушке утопает еще расплывчатый детский профиль. Тереза узнает ушко Мари, слишком большое, как у матери! верно говорят, что девочка — вылитая мать. Вот она лежит, отяжелевшая, спящая. «Я ухожу. Но эта частица меня самой останется, и судьба ее свершится до конца, ничего оттуда не

выкинешь, ни на йоту не изменишь». Склад ума, склонности, закон крови, закон нерушимый. Терезе приходилось читать, что самоубийцы, дошедшие до отчаяния, уносят с собой в небытие своих детей. Мирные обыватели в ужасе роняют газету: «Да как возможны подобные вещи?» Поскольку Тереза — чудовище, она чувствует, что это вполне возможно и что еще бы немного — и она... Она опускается на колени, едва касается губами маленькой ручонки, лежащей на одеяле, и вот удивительно, что-то нарастает в самой глубине ее существа, поднимается к глазам, жжет ей щеки: скупые слезы женщины, которая никогда не плакала!

Потом Тереза поднялась, еще раз окинула взглядом ребенка, прошла наконец в свою комнату, налила воды в стакан, сломала сургучную печать и остановилась в нерешительности, какой из трех ядов взять.

Окно было отворено; петухи своим пением, казалось, разрывали пелену тумана, а прозрачные его клочья цеплялись за ветки сосен. Все кругом было залито светом зари. Как же расстаться с этим сиянием? Что такое смерть? Ведь никто не знает, что такое смерть. Тереза не была уверена, что это небытие. Она не могла с твердостью ска-

зать: там никого нет. И как была она противна себе за то, что ей страшно. Ведь она не колебалась, когда хотела столкнуть другого человека в бездну небытия, а сама вдруг упирается. Какая унизительная трусость! Если Предвечный существует (на мгновение возникло воспоминание: Праздник Тела Господня, удушливый, жаркий день, одинокий человек в тяжелом золотом облачении, чаша, которую он держит обеими руками, шевелящиеся губы и скорбное лицо) — да, если Предвечный существует и если такова воля его, чтобы жалкая слепая душа переступила порог, пусть он, по крайней мере, примет с любовью чудовище, сотворенное им. Тереза вылила в стакан с водой хлороформ — его название было более привычно и меньше пугало ее, ибо вызывало представление о сне. Надо спешить. Дом уже просыпается: жена Бальона со стуком открыла ставни в спальне тети Клары. Что она там кричит глухой старухе? Обычно та ее понимает по движениям губ. Захлопали двери, кто-то бежит по лестнице.

Тереза едва успела набросить на стол свою шаль, чтобы скрыть пакетики с ядом. Не постучавшись, ворвалась жена Бальона.

— Мамзель померла! Я пришла, а она мертвая

лежит на постели, совсем одетая. Уже закоченела.

Тете Кларе, старой безбожнице, опутали пальцы четками, положили ей на грудь распятие. Приходили фермеры, преклоняли колени и выходили, окинув взглядом Терезу, стоявшую в изножий кровати («А кто ее знает, может, и старуху-то она извела»); Бернар поехал в Сен-Клер известить родных и заняться необходимыми хлопотами. Вероятно, он думал, что эта смерть пришла вовремя, — отвлечет внимание от главного. Тереза глядела на мертвое тело, на старое преданное существо, которое пало ей под ноги в то мгновение, когда она хотела ринуться в бездну смерти. Что это? Случайность? Совпадение? Скажи ей кто-нибудь, что это произошло по особому произволению, она бы только плечами пожала. Люди шушукались: «Видели? Она хоть бы для виду слезинку проронила». А Тереза в сердце своем говорила с той, кого уже не стало: «Как же мне теперь жить? Быть живым трупом, да еще во власти тех, кто меня ненавидит? Даже и не пытаться что-нибудь увидеть за стенами своего склепа?»

На похоронах Тереза занимала положенное ей место. А в ближайшее воскресенье она вошла в церковь под руку с Бернаром, и, вместо того что-

бы пройти к своей скамье через боковой придел, он нарочно провел ее через неф. Тереза откинула траурную вуаль лишь после того, как заняла свое место между свекровью и мужем. Присутствующим в церкви не было ее видно за колонной, а против нее был только клирос. Ее окружили со всех сторон: сзади — толпа, справа — Бернар, слева — г-жа де ла Трав, и только одно оставалось ей открытым, как арена, на которую вырывается из тьмы бык, — вот это пустое пространство, где между двумя мальчиками-служками странно наряженный человек что-то шепчет, слегка расставив руки

XI

Вечером Бернар и Тереза возвратились в Аржелуз, но теперь в дом Дескейру, где уже много лет почти что и не жил никто. Камины там дымили, окна плохо затворялись, под двери, которые изгрызли крысы, задувал ветер. Но в том году осень была так хороша, что сначала Тереза и не замечала этих неприятностей. Бернар целыми днями пропадал на охоте. Вернувшись домой, он тотчас располагался на кухне, обедал с Бальонами — Тереза слышала звяканье вилок, монотонные голоса. В октябре быстро темнеет. Книги, которые Тереза велела перенести из соседнего дома, она уже знала наизусть. Бернар ничего не ответил на просьбу жены переслать в Бордо, в книжную лавку, ее заказ на новинки, он только позволил ей пополнить запас сигарет. Что ей было делать вечерами? Мешать кочергой жар в камине? Но ветер выбивал в комнату дым от горящих смолистых поленьев, у нее першило в горле, щипало глаза, и без того раздраженные курением табака. Как только Бальонша уносила остатки почти нетронутого ужина, Тереза тушила лампу и ло-

жилась в постель. Сколько часов лежала она, вытянувшись под одеялом, тщетно ожидая сна? Тишина Аржелузa мешала ей спать: когда ночью дул ветер, все-таки было лучше — в смутной жалобе, звучавшей в вершинах сосен, была какая-то человеческая ласка. Тереза отдавалась душой этой убаюкивающей песне. Беспокойные ночи поры равноденствия лучше усыпляли ее, чем тихие ночи.

Как ни были томительны бесконечные вечера, все же случалось, что Тереза возвращалась с прогулки еще засветло, и тогда какая-нибудь фермерша, завидев ее, хватала своего ребенка за руку и спешила увести его во двор, или же встретившийся гуртоправ, которого она знала и в лицо, и по имени, не отвечал на ее приветствие. Ах, как было бы хорошо затеряться, исчезнуть в большом, многолюдном городе! В Аржелузе каждый пастух знал сочинявшиеся о ней истории (ей приписывали даже смерть тети Клары). Она не посмела бы тут переступить чужого порога, из дому выбиралась через боковую калитку, обходила фермы стороной; стоило вдалеке застучать колесам крестьянской тележки, она сворачивала с большой дороги на проселочную; она шла быстро, а на сердце у нее было тревожно, как у птицы,

вспугнутой охотником; заслышав дребезжащий звук велосипедного звонка, она пряталась в зарослях вереска и замирала там, пока не проедет велосипедист.

По воскресеньям на мессе в Сен-Клере она не испытывала такого страха, и там ей становилось немного легче. Общественное мнение городка как будто стало более благосклонным к ней. Она не знала, что отец и семейство де ла Трав рисовали ее как невинную жертву, смертельно сраженную клеветой. «Мы боимся, что бедняжка не оправится, она никого не желает видеть, и доктора говорят, что в этом ей никак нельзя противоречить. Бернар окружает ее заботами, но, знаете ли, психика ее затронута».

В последнюю ночь октября бешеный ветер, примчавшийся с Атлантики, долго терзал вершины деревьев, и Тереза в полусне прислушивалась к этому шуму, похожему на гул океана, однако на рассвете ее разбудила не эта жалоба леса. Она откинула ставни, но в комнате по-прежнему было темно: шел дождь, мелкий и частый, струившийся по черепичным кровлям хозяйственных служб, по еще густой листве дубов. Бернар не пошел в тот день на охоту. Тереза закуривала сигарету, бросала, выходила на лестничную площадку и

слышала оттуда, как ее муж бродит на нижнем этаже из комнаты в комнату; запах крепкого трубочного табака проникал в ее спальню, заглушая запах сигарет, которые курила Тереза, — сразу на нее пахнуло прежней ее жизнью. Первый день осеннего ненастья... Сколько же времени ей еще предстоит томиться в этой комнате у камина, где едва тлеют угли! В углах плесень, из-за сырости отстали обои; на стенах еще видны следы висевших там фамильных портретов, которые Бернар увез в Сен-Клер, чтобы украсить ими гостиную, и все еще торчат уже ненужные ржавые гвозди. На каминной полке по-прежнему стоят в фигурной рамке из поддельной черепахи три фотографии, такие бледные, словно покойники, запечатленные на них, умерли вторично: отец Бернара, его бабка и сам Бернар в детстве, с челкой на лбу и локонами до плеч. Надо прожить тут весь этот день, а потом жить тут недели и месяцы...

Когда стало смеркаться, Тереза не выдержала: тихонько отворила дверь, спустилась по лестнице и вошла в кухню. Бернар, сидевший на низком стуле перед очагом, вскочил, Бальон перестал чистить ружье, а его жена выронила из рук вязанье. Все трое смотрели на Терезу с таким выражением, что она спросила:

— Что, испугались меня?

— Входить в кухню вам запрещено. Вы разве не знаете?

Тереза ничего не ответила и попятилась к двери. Бернар окликнул ее.

— Ну, раз уж мы встретились... то я считаю нужным сообщить вам, что дальнейшее мое пребывание здесь больше не является необходимым. Нам удалось создать в Сен-Клере атмосферу симпатии к вам, все считают или делают вид, что считают вас несколько... неврастеничной. Мы уверили всех, что вы больше любите жить в одиночестве, а я часто навещаю вас. Впредь я освобождаю вас от обязанности ходить к мессе...

Тереза пробормотала, что ей «совсем не было неприятно» ходить к мессе. Бернар ответил, что дело не в том, что ей приятно или неприятно. Искомый результат достигнут — вот и все.

— И поскольку месса для вас ничего не значит...

Тереза открыла было рот, хотела что-то сказать, но промолчала. А Бернар повелительным тоном заявил, что она должна вести себя так, чтобы ни единым словом, ни единым жестом не повредить столь быстрому и нежданному успеху. Тереза спросила, как чувствует себя Мари. Он ответил,

что Мари чувствует себя хорошо и завтра она с Анной и г-жой де ла Трав уезжает в Болье; он и сам проведет там некоторое время — месяца два-три, не больше. Затем он отворил дверь и, посторонившись, пропустил Терезу.

На тусклой осенней заре она услышала, как Бальон запрягает лошадь. Потом раздался голос Бернара, конское ржание и удалявшийся стук колес. И опять лил дождь, падавший на черепицы, на запотевшие окна, на пустынное поле, на все сто километров ланд и болот, на последние еще не укрощенные движущиеся дюны и на океан.

Тереза курила, закуривая одну сигарету от другой; часа в четыре надела непромокаемый плащ и решила пройтись под дождем. В темноте ей стало страшно, и она вернулась к себе в комнату. Огонь в камине погас, она дрожала от холода и, чтобы согреться, легла в постель. Часов в семь Бальонша принесла ей яичницу с ветчиной, Тереза отказалась от еды: ее уже стало мутить от вкуса и запаха свиного сала. Каждый день жирные мясные консервы или ветчина. Бальонша уверяла, что у нее больше ничего нет. Хозяин запретил резать птицу. И стала жаловаться, что Тереза заставляет ее без толку подниматься и спускаться по лестнице, а ведь у нее, Бальонши,

и сердце больное, и ноги отекают. Тяжелая у нее работа. Только ради г-на Бернара она и взялась за это дело.

Ночью Терезу лихорадило, но голова была необычайно ясной, и в воображении она рисовала себе жизнь в Париже. Вот ресторан, где она была с Бернаром, но теперь она не с ним, а с Жаном Азеведо и какими-то молодыми женщинами. Вот она положила на стол свой черепаховый портсигар, закурила сигарету «Абдулла». Вот она говорит, изливает свою душу, а в это время оркестр играет под сурдинку. Ее рассказ слушают с восторгом — вокруг такие внимательные, но не удивленные лица, и одна женщина говорит: «Вот так же было и у меня... Да-да, я тоже испытала это...» Какой-то писатель отводит ее в сторону: «Вы должны написать о том, что вам пришлось пережить. Мы напечатаем в нашем журнале эту „Исповедь женщины наших дней“». Домой ее отвозит в своей машине молодой человек, вздыхающий о ней; они едут по аллее Булонского леса, сама она не чувствует волнения, но ей приятно, что сидящий слева от нее юноша горит страстью. «Нет, сегодня вечером не могу, — говорит она ему, — сегодня я обедаю у подруги». — «А завтра?» — «Тоже не могу». — «Значит, вы никогда не бы-

ваете свободны по вечерам?» — «Почти никогда... можно сказать, никогда».

Но в ее жизни есть человек, рядом с которым ей все кажется ничтожным; человека этого никто не знает в их кругу, он очень скромный, совсем безвестный, но все существование Терезы вращается вокруг этого солнца, видимого лишь ее взгляду, только она одна знает жар его объятий. Париж гудит, как ветер в соснах. Приникшее к ней тело возлюбленного, такое легкое, стесняет ее дыхание, но пусть уж она лучше задохнется, лишь бы он был здесь, рядом. (И Тереза делает такое движение, как будто обнимает кого-то, правой рукой сжимает себе левое плечо, а ногти левой руки впиваются в правое плечо.)

Она встает, идет босая к окну, отворяет его; ночь не холодная, но даже и надеяться нельзя, чтобы хоть один день в эту осень не шел дождь: с утра до вечера дождь, дождь, и так до скончания веков. Будь у нее деньги, она бы убежала в Париж и пошла бы прямо к Жану Азеведо, доверилась бы ему; он сумел бы найти ей работу. Жить в Париже одной, да еще на свой собственный заработок, ни от кого не зависеть! Освободиться от этой семьи. Пусть само сердце выбирает себе близких — не по крови, а по духу, но и по плоти также; найти

поистине родных тебе людей, — даже если их будет немного, даже если они будут разбросаны по свету... Наконец она уснула при открытом окне. Проснулась на рассвете от холода и сырости; она так замерзла, что у нее стучали зубы, но не могла решиться встать и затворить окно, не было даже сил протянуть руку и укрыться сбившимся одеялом.

В этот день она так и не встала с постели, не умылась, не привела себя в порядок. Проглотила несколько кусочков мясных консервов и выпила кофе, чтобы закурить сигарету: натощак она больше не могла теперь курить, желудок не позволял.

Она пыталась возвратиться к своим ночным вымыслам; днем в Аржелузе шуму не прибавлялось, а после обеда уже наступала такая же тьма, как и ночью. В пору самых коротких дней в году, да еще при упорном ненастье, все смешивалось: утренние, вечерние, дневные часы; утренняя мгла быстро переходила в вечерний сумрак, а кругом стояла нерушимая тишина. Терезе теперь совсем не хотелось спать, и ее сны наяву становились от этого еще более четкими; она терпеливо искала в своем прошлом забытые лица, губы, которые влекли ее к себе; она возрождала

смутные воспоминания о случайно встреченных мужчинах, которых в ночных грезах призывало ее невинное тело. Она придумывала себе счастье, рисовала радости жизни, создавала сказку о какой-то немыслимой любви.

— Она теперь и не вылезает из постели, — через некоторое время докладывала Бальонша мужу, — и не ест ничего, до консервов и до хлеба не дотрагивается. Но не беспокойся, бутылочку-то всю выпивает. Сколько ни дай вина этой дряни, все вылакает. Да еще, знаешь, сигаретами своими простыни прожигает. Рано или поздно она пожар тут устроит. Курит, без конца курит — даже пальцы и ногти пожелтели, как будто она их в арнику опустила. Подумать только, простыни-то добротные, домотканые. Не жди, голубушка, что я тебе часто буду менять белье.

Бальонша ныла, что она не отказывается подметать комнату Терезы и перестилать постель, но ведь эта чертова лентяйка не желает вылезать из-под одеяла. Да и стоит ли для нее стараться? Несчастная старуха Бальонша больными своими, отекшими ногами взбирается по лестнице с кувшинами горячей воды, но как поставит их утром у двери, так они и стоят до вечера.

Мысли Терезы уже отвлеклись от образа того

неведомого возлюбленного, который она создала себе на радость, ее уже утомило вымышленное счастье, она пресытилась им, и теперь фантазия уводила ее от действительности иными путями. Вот она лежит на смертном одре. Вокруг стоят на коленях люди. К ложу ее приносят умирающего мальчика (одного из тех, кто убегал при виде Терезы); она возлагает на его голову руку с пожелтевшими от никотина пальцами, и мальчик встает исцеленный. Возникали у нее и другие, совсем скромные мечты: вот она построила себе дом на берегу моря; она так ясно представляла себе сад, террасу, расположение и назначение комнат; она подбирала для них обстановку, искала место для каждой вещи, расставляла там и тут мебель, что была у нее в Сен-Клере, спорила сама с собой, покупая ткани. Затем декорация становилась расплывчатой, оставалась садовая беседка и скамья у моря. Тереза сидит на этой скамье, положив голову кому-то на плечо. Зазвонил колокол, призывая к обеду; она встает, входит в темную аллею, кто-то идет рядом с нею и вдруг обнимает ее обеими руками, прижимает к себе. «Поцелуй, — думает она, — должен остановить время»; ей кажется, что в любви бывают мгновения бесконечности — так говорило ей воображение, но

верна ли эта догадка? Этого ей никогда не узнать. Опять она видит белый домик, колодец; скрипит насос, благоухают во дворе только что политые гелиотропы; ужин будет отдыхом перед счастьем, ожидающим ее вечером и ночью. Неизъяснимым счастьем, которому невозможно смотреть в лицо, оно беспредельно, сердце человеческое не в силах вместить его. Итак, любовь, которой Тереза была лишена больше всех, пронизывала все ее существо, Тереза была одержима ею. Она почти и не слышала визгливого голоса Бальонши. Что там кричит эта старуха?

— Рано или поздно господин Бернар без предупреждения вернется с юга. И что же он скажет, когда заглянет в вашу комнату? Ведь это настоящий свинарник! Вставайте-ка скорее, сударыня, не то придется поднять вас силой.

Тереза садится на постели, с тупым удивлением смотрит на свои ноги. Ноги худые, как у скелета, ступни кажутся огромными. Бальонша надевает на нее капот, заталкивает ее в кресло. Тереза ищет возле себя сигареты, но ее рука повисает, как плеть. Негреющие лучи солнца вливаются в распахнутое окно. Бальонша суетится, орудует половой щеткой, пыхтит, чертыхается, а ведь, говорят, эта Бальонша добрая женщина. Когда

к Рождеству колют откормленного ею кабана, она проливает слезы. А злится она из-за того, что Тереза ничего ей не отвечает: молчание Бальонша считает для себя оскорбительным, как знак презрения.

Но Тереза не в силах была говорить. Когда все ее тело ощутило свежесть чистых простынь, она, как ей кажется, сказала «спасибо», но на самом деле ни звука не слетело с ее губ. Бальонша прошипела, уходя:

— Ну, уж этих простынь вы не прожжете!

Тереза испугалась, что старуха унесла сигареты, и со страхом протянула руку к ночному столику: сигарет там не оказалось. А как же ей жить без сигарет? Ей необходимо постоянно ощущать в пальцах эту сухую и упругую палочку, ей необходимо без конца нюхать и разминать сигареты, видеть, что комната утопает в сизом облаке дыма, который она втягивает и выпускает изо рта. Бальонша придет теперь только вечером, весь день — без сигарет. Тереза закрыла глаза, а ее пожелтевшие пальцы все еще делали привычные движения, будто разминали сигарету.

В семь часов вечера пришла Бальонша, принесла свечу, поставила на стол поднос: молоко, кофе, кусок хлеба.

— Ну, как? Больше вам ничего не надо? — Она злорадно смотрела на Терезу, ждала, что та попросит сигарет, но Тереза лежала молча, повернувшись лицом к стене.

Бальонша, вероятно, плохо затворила окно, от порыва ветра оно распахнулось, и ночной холод ворвался в комнату. У Терезы не хватило мужества откинуть одеяло, встать и подбежать босиком к окну. Она лежала неподвижно, скорчившись и натянув одеяло до самых глаз, чувствуя на веках и на лбу ледяное дыхание ветра. В сосновом бору не стихал беспредельный гул, похожий на гул океана, и все же там царила тишина, глубокая тишина Аржелуза. Тереза думала, что если бы она жаждала мученичества, она бы не куталась так в одеяла. Она попробовала было откинуть их, но выдержала холод лишь несколько мгновений. Потом ей удалось выдержать немного дольше — она как будто повела игру, совсем безотчетно, без всякого участия воли; страдания стали ее единственным занятием и, кто знает, может быть, смыслом ее существования в мире.

XII

— Письмо от хозяина!

Тереза не брала протянутое ей письмо, но Бальонша не отставала: наверное, тут сказано, когда хозяин вернется, и ей, Бальонше, надо про это знать, чтобы вовремя все приготовить.

— Может, хотите, чтобы я прочитала?

Тереза ответила:

— Прочтите! Прочтите! — и, как всегда в присутствии Бальонши, повернулась лицом к стене. Но то, что чуть не по складам читала вслух Бальонша, вывело ее из оцепенения:

«*Я был очень рад, узнав из сообщений Бальона, что у вас в Аржелузе все благополучно...*»

Бернар писал, что вернется на машине, но так как он намерен останавливаться по дороге в тех или иных городах, то не может указать точной даты своего приезда.

«*Во всяком случае, вернусь я не позднее двадцатого декабря. Не удивляйтесь, что я приеду с Анной и Дегилемом. В Болье они обручились, но это еще не официальная помолвка. Дегилем непременно хочет сначала увидеться с Вами. Уверяет,*

что этого требуют приличия, но я чувствую, что он хочет составить себе мнение о некоторых обстоятельствах — Вы, конечно, догадываетесь каких. Вы так умны, что прекрасно справитесь с этим испытанием. Помните: Вы больны, у Вас затронута психика. В общем, я полагаюсь на Вас. Я буду Вам признателен, если Вы постараетесь не разрушить счастья Анны, не помешаете благополучному осуществлению плана, который во всех отношениях удовлетворяет нашу семью. В противном случае Вы дорого заплатите за малейшую попытку повредить нам. Однако я уверен, что этого нам нечего опасаться...»

Это было в ясный и холодный день. Тереза встала с постели, подчинившись настояниям Бальонши, и, опираясь на ее руку, немного прошлась по саду, но за завтраком она с трудом справилась с кусочком белого мяса цыпленка. До двенадцатого декабря оставалось еще десять дней. Бальонша уверяла, что если Тереза встряхнется, будет выходить из дому, дышать свежим воздухом, она живо встанет на ноги.

— Не то что она со зла упрямится, — говорила Бальонша мужу, — она просто совсем раскисла. Господин Бернар умеет дрессировать непослушных собак: чуть что, наденет парфорсный

ошейник[3]. Ну, с этой-то не пришлось долго возиться, видишь, ползает теперь на брюхе. Но лучше бы он все-таки ей не доверял...

Тереза действительно изо всех сил старалась отказаться от мечтаний, дремоты, от самозабвения. Она заставляла себя ходить, есть, а главное, вновь обрести ясность мыслей, здраво смотреть на вещи и на людей; ведь приди она в ланды, пострадавшие от пожара по ее вине, она ступала бы там по слою пепла, ходила бы среди обгоревших черных сосен — так же вот готова она была говорить и улыбаться в кругу этой семьи — ее семьи.

Восемнадцатого декабря, в пасмурный, но не дождливый день Тереза сидела у камина в своей спальне и дремала, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза. Вдруг ее разбудил шум мотора. Затем она услышала голос Бернара, раздавшийся в прихожей, а также голос г-жи де ла Трав. Когда Бальонша, запыхавшись, ворвалась в спальню, забыв постучаться, Тереза уже стояла перед зеркалом, подрумянивала себе щеки и подкрашивала губы. Она сказала: «А то, пожалуй,

---

[3] Примечания: 3

Строгий ошейник. Используются, в основном, в целях дрессировки. Главная отличительная черта такого ошейника — наличие шипов с внутренней стороны, которые причиняют животному некоторый дискомфорт при рывке поводком.

напугаю жениха Анны...»

Бернар допустил промах — не поднялся первым делом к жене. Молодой Дегилем, обещавший своим родителям «смотреть в оба», отметил такое невнимание со стороны мужа и решил, что оно «наводит на некоторые размышления». Немного отодвинувшись от Анны, он поднял меховой воротник теплого пальто и счел нужным сказать, что «эти деревенские гостиные нечего и пытаться натопить». Он спросил у Бернара: «У вас сделан под домом подвал? Нет? Ну, так у вас пол всегда будет подгнивать, разве только что положить под него слой цемента...»

На Анне было беличье манто и фетровая шляпка без ленты и без банта («Но, — заметила г-жа де ла Трав, — хоть на этом колпачке нет никаких украшений, он стоит дороже, чем прежние наши шляпы с перьями и с эгретками. Правда, фетр тут чудесный, куплен у Лельгака, а фасон создан самим Ребу»). Г-жа де ла Трав протягивала ноги к топившемуся камину, но все поворачивалась властным и пухлым лицом к двери. Она обещала Бернару быть на высоте положения, но заявила ему: «Смотри не проси, чтобы я поцеловала ее. Нельзя же этого требовать от матери. Меня и то уж в дрожь бросает при мысли, что придется

поздороваться с ней за руку. Один бог знает, каких ужасов она натворила, но, представь себе, не это меня больше всего возмущает, мы же знаем, что есть люди, способные на любое злодейство, меня ее лицемерие возмущает. Вот что страшно. Ты одно вспомни: „Мама, лучше сядьте вот в это кресло, вам будет удобнее“. И ведь как она боялась „напугать“ тебя! „Дорогой мой бедняжечка так боится смерти, что если мы вызовем врача для консилиума, это его доконает...“ Господь бог видит, я ничего не подозревала, но, услышав из ее уст „дорогой мой бедняжечка“, я просто поразилась...»

Но сейчас, в гостиной их аржелузского дома, г-жу де ла Трав беспокоило только одно: явная неловкость, которую испытывал каждый из присутствующих; она внимательно наблюдала за Дегилемом, устремившим на Бернара свои сорочьи глаза.

— Бернар, ты бы сходил посмотреть, что делает Тереза... Может быть, ей нездоровится.

Анна, равнодушная, как будто отрешившаяся от всего, что может произойти, первая услышала знакомые шаги: «Да вот она, уже спускается по лестнице». Бернар прижал руку к груди; опять началось сердцебиение. Какое идиотство, что

он не приехал сюда вчера вечером! Нужно было заранее прорепетировать эту сцену с Терезой. Что-то она скажет? Она способна все испортить, не сделав ничего такого, за что ее можно было бы упрекнуть. Как она медленно спускается по ступенькам! А все уже встали, все повернулись к двери, и наконец Тереза отворила ее.

Несомненно, Бернар долгие годы помнил, как при появлении этого изможденного существа, этого маленького, бледного и накрашенного личика у него прежде всего мелькнула мысль: «Суд присяжных». Но возникла она не по поводу преступления Терезы. Ему вдруг вспомнилось цветное приложение к «Пти паризьен», украшавшее в числе многих других картинок дощатую беседку в аржелузском саду его родителей; и в знойные дни под жужжание мух и неистовое стрекотание кузнечиков в траве он, ребенком, со страхом вглядывался в эту красно-зеленую картину, изображавшую «Узницу замка Пуатье».

Так и теперь он испуганно смотрел на это бескровное, исхудалое лицо и корил себя за свое безумие: ведь надо было сразу же, во что бы то ни стало устранить эту ужасную женщину, отбросить ее, как выбрасывают в воду бомбу, которая с минуты на минуту может взорваться. Сознатель-

но или безотчетно, но Тереза вызывала у каждого мысль о какой-то драме, хуже того — о каком-то происшествии из уголовной хроники; она, несомненно, могла быть только преступницей или жертвой... Собравшиеся в гостиной родственники встретили ее возгласами удивления и жалости столь непритворными, что Дегилем заколебался в своих выводах, не знал, что ему и думать. А Тереза объяснила:

— Но ведь все это очень просто. Погода была плохая, я совсем не выходила на воздух и потеряла аппетит. Я почти ничего не ела. Но ведь лучше похудеть, чем располнеть, верно?.. Давай, Анна, поговорим о тебе. Я так рада...

Тереза взяла ее за руки (она сидела, Анна стояла) и долго глядела на нее. С исхудалого, как будто истаявшего лица на Анну смотрели такие знакомые глаза; когда-то, в детстве, их пристальный взгляд раздражал ее, и она говорила Терезе: «Что ты так смотришь на меня? Перестань!»

— Я так радуюсь твоему счастью, Анна.

И на губах Терезы мелькнула улыбка, поздравлявшая Анну с ее «счастьем», адресованная и г-ну Дегилему, его плешивой голове, жандармским усам, покатым плечам, его коротенькой визитке и его жирненьким ляжкам, обтянутым брюками

в серую и черную полоску (да что ж, мужчина как мужчина, словом — муж). Затем она вновь перевела глаза на Анну и сказала:

— Сними шляпку... Ну вот, я и узнаю тебя, душенька.

Анна же видела теперь совсем близко кривившийся рот Терезы, ее глаза, никогда не проливавшие слез, но она не знала, о чем в эту минуту думала Тереза. Г-н Дегилем высказал мысль, что и зимою деревня не так уж страшна для женщины, если она любит свое гнездышко. «В доме всегда столько работы...»

— Что же ты не спросишь меня о Мари?

— Правда, правда... Расскажи о Мари...

И тут Анна как будто вновь стала недоверчивой, враждебной, — не зря же она несколько месяцев очень часто и с одинаковым выражением повторяла своей матери: «Я бы ей все простила, она в конце концов душевнобольная, но ее равнодушия к Мари я не могу вынести. Мать, которая нисколько не интересуется своим ребенком. Приводите тут какие угодно оправдания, а я считаю это гнусным».

Тереза догадывалась, что думает Анна: «Она презирает меня за то, что я не заговорила прежде всего о Мари. Как объяснить ей? Она не поняла

бы, что я полна собой, всецело занята собой. Анна ждет не дождется детей, чтобы раствориться в них, подобно своей матери, подобно всем женщинам-семьянинкам. А мне всегда необходимо думать о своем, я стараюсь обрести себя... Анна скоро позабудет и свою юность, и свою дружбу со мной, позабудет и ласки Жана Азеведо — все позабудет при первом же писке младенца, которым ее наградит вот этот гном, даже не сняв свою визитку. Женщина-семьянинка жаждет утратить свою индивидуальную жизнь. Как прекрасна такая жертва во имя блага всего рода, и я чувствую красоту этой обезличенности, этого самоотречения... Но я-то, я...»

Тереза попыталась не слушать того, что говорили вокруг, а думать о Мари; крошка теперь, должно быть, уже лепечет. «Приятно было бы послушать ее болтовню, но только недолго, она быстро наскучила бы мне и захотелось бы поскорее остаться наедине с самой собой...» Она спросила Анну:

— А Мари, наверно, уже хорошо говорит?

— Повторяет все, что услышит. Ужасно забавно. Закукарекает петух или машина даст гудок, она сейчас же поднимет пальчик и скажет: «Слышишь? Бибика кличит». Такая душечка! Такая

прелесть!

Тереза думала: «Надо прислушаться, о чем они там говорят. В голове у меня так пусто... О чем это толкует господин жених?» И, сделав над собой усилие, она слушает.

— У меня в Балисаке имение, но наши смолокуры не такие усердные, как здесь: собирают смолу четыре раза в год, а в Аржелузе — семь, а то и восемь раз.

— Ну, ваши смолокуры просто лодыри, ведь цены-то на смолу завидные.

— Да-да. Нынче смолокур зарабатывает по сто франков в день! Но мы, кажется, утомили вашу супругу.

Тереза откинула голову на спинку кресла. Все встали. Бернар решил переночевать в Аржелузе. Дегилем сказал, что он сам поведет его машину, а завтра шофер пригонит ее обратно и привезет багаж Бернара.

Тереза сделала усилие, чтобы привстать, но свекровь удержала ее.

Тогда она закрыла глаза и услышала, как Бернар сказал матери:

— Ну уж эти Бальоны! Сейчас я им задам такую головомойку, что они ее долго будут помнить!

— Слушай, ты все-таки не увлекайся, а то они,

чего доброго, возьмут расчет, а нам это ни к чему: во-первых, они слишком много знают, а кроме того, имение... Одному только Бальону известны все его границы.

Затем, отвечая на какую-то реплику Бернара, которую Тереза не расслышала, г-жа де ла Трав добавила:

— Будь все же поосторожнее, очень-то ей не доверяй, следи за каждым ее жестом, никогда не позволяй, чтобы она одна входила в кухню или в столовую!.. Да нет, она не в обмороке, она спит или притворяется...

Тереза открывает глаза, перед ней Бернар, он держит в руке стакан и говорит:

— Вот выпейте скорее. Это испанское вино, оно очень укрепляет силы.

А затем, поскольку Бернар всегда делает то, что решил, он идет в кухню и дает там волю своему негодованию. Разговор идет на местном наречии. Тереза слушает кудахтанье Бальонши и думает: «Бернар чего-то испугался! Но чего именно?» Он возвращается.

— Мне кажется, вам приятнее будет есть в столовой, а не у себя в комнате. Я уже отдал распоряжение, чтобы вам накрывали на стол, как прежде — в столовой.

Право, Бернар стал таким же, как в дни следствия, — союзником, желающим во что бы то ни стало вызволить ее из беды. Он хочет, чтобы она выздоровела, чего бы это ни стоило. Да, он, несомненно, испугался. Вот он сидит перед ней, ворошит кочергой жар в камине. Тереза наблюдает за ним, но не может угадать, какой образ возникает в пламени перед его выпуклыми глазами, а видит он там красно-зеленый рисунок приложения к «Пти паризьен» — «Узница замка Пуатье».

Сколько бы ни лил дождь, на песчаной почве Аржелуза не остается ни одной лужи. В самой середине зимы достаточно солнышку выглянуть на один час — и уже можно спокойно гулять в туфлях на веревочной подошве по дорогам, устланным ковром сухих и упругих сосновых игл. Бернар пропадал на охоте по целым дням, но к вечеру всегда возвращался домой, спрашивал, как Тереза себя чувствует, еще никогда он так не заботился о ней. В их отношениях не было натянутости Он заставлял ее взвешиваться каждые три дня, позволял курить только после еды и не больше двух сигарет. По его совету Тереза очень много ходила пешком по лесу: «Физические упражнения возбуждают аппетит лучше всякого

аперитива».

Теперь Тереза уже не боялась Аржелуза. Ей казалось, что сосны расступаются, размыкают свои ряды, ветвями подают ей знак, чтоб она уходила на волю. Как-то раз вечером Бернар сказал ей:

— Я прошу вас подождать только до свадьбы Анны. Пусть все ланды еще раз увидят нас с вами вместе, а после вы будете свободны.

В ту ночь она не могла сомкнуть глаз: тревога и радость не давали ей спать. На рассвете она услышала пение петухов, — казалось, они не перекликаются, а поют хором, все разом, наполняя и небо, и землю единым ликующим воплем. Итак, Бернар выпустит ее на волю, как выпустил он когда-то в ланды дикую кабаниху, которую не мог приручить. Когда Анна выйдет замуж за своего Дегилема, пусть себе люди болтают что угодно. Бернар привезет Терезу в Париж, она погрузится в его пучину, а он вернется домой. Так было у них условлено. Ни развода, ни официального «раздельного жительства» — для посторонних предлогом выставят ее здоровье. («Она чувствует себя хорошо только в путешествиях».) Бернар будет регулярно ей высылать ее долю дохода от сбора смолы.

Бернар не расспрашивал Терезу о ее планах,

пусть она убирается ко всем чертям.

— Я только тогда успокоюсь, — говорил он матери, — когда она вытряхнется отсюда.

— Надеюсь, она примет свою девичью фамилию... Но все равно, если она опять примется за свое, тебя живо найдут.

Однако Бернар утверждал, что Тереза «брыкается только в оглоблях». А будет она чувствовать себя свободной, так, может быть, станет благоразумнее. Во всяком случае, надо рискнуть. Такого же мнения держался и г-н Ларок. В конечном счете лучше всего, чтобы Тереза исчезла с горизонта; так ее скорее забудут, люди отвыкнут сплетничать о ней. Теперь самое главное — молчать. Мысль эта укоренилась в их головах, и они уже не могли отказаться от нее: Терезу надо вывести из оглобель. Ах, как им хотелось сделать это поскорее!

Тереза очень любила самый конец зимы, когда обнажены земля и лес и все же бурые лохмотья засохших листьев упорно цепляются за ветви дуба. В эти дни она открыла, что тишины в Аржелузе не существует. В самую тихую погоду лес стонет, как будто плачет над своей судьбой, убаюкивает себя, и даже когда он засыпает, ночами слышится его бесконечный шепот. А ведь может

случиться, что в ее будущей жизни, невообразимой жизни, ей доведется встречать зарю в таком одиночестве, что она пожалеет о часах утреннего пробуждения в Аржелузе, о ликующем вопле бесчисленных петухов, и долгие годы ей потом будут вспоминаться кузнечики, стрекочущие днем, и ночной скрип сверчков. Париж. Кругом будут не сосны, терзаемые людьми, а люди, опасные люди. Вместо полчищ деревьев — полчища людей.

Супруги Дескейру сами удивлялись, что чувствуют себя друг с другом так непринужденно. Терезе пришла мысль, что мы спокойно терпим соседство неприятных для нас людей, если уверены, что можем расстаться с ними. Бернара теперь интересовало, и сколько весит Тереза, и как она рассуждает: она говорила при нем так свободно, как никогда не говорила прежде. «В Париже... когда я уеду в Париж...» Там она поселится в гостинице, а может быть, подыщет себе квартиру. Она собиралась ходить на лекции, на доклады, на концерты — начать с азов свое образование. Теперь Бернар и не думал следить за ней, без опаски ел за столом суп, пил вино. Доктор Педмэ, встречавший их иногда на дороге к Аржелузу, говорил своей жене: «Удивительно, что они как будто совсем и не разыгрывают комедию».

XIII

В теплое мартовское утро, около десяти часов, волна людей уже текла по улицам Парижа, подступала к террасе «Кафе де ла Пэ», где сидели за столиком Бернар и Тереза. Она бросила сигарету и, как это делают жители ланд, тщательно раздавила окурок подошвой.

— Боитесь, что асфальт загорится?

И Бернар деланно засмеялся. Он корил себя, зачем ему вздумалось проводить Терезу до Парижа. Конечно, поехали они только после свадьбы Анны, и проводить даже надо было, считаясь с общественным мнением, но главное — он подчинился желанию Терезы. Право, у этой женщины просто талант создавать нелепые положения; пока она как-то связана с его жизнью, ему, вероятно, не раз придется потворствовать ее безрассудным желаниям; она сохраняет некое подобие влияния даже на такой уравновешенный, такой положительный ум, как у него. И когда пришла минута расстаться с ней, он против своей воли испытывал чувство грусти, хотя никогда бы не сознался в этом: кажется, трудно найти человека более

чуждого сантиментам такого рода, а уж тем более по отношению к Терезе это просто немыслимо. И ему хотелось избавиться поскорее от душевного смятения. Только и вздохнешь свободно, когда сядешь в Южный экспресс. Автомобиль будет ждать его нынче вечером в Лангоне. Вскоре после этой станции, у дороги на Вилландро, начнутся сосновые леса. Он смотрел на профиль Терезы, видел, как ее взгляд останавливается на каком-нибудь лице, возникшем в толпе прохожих, и следит за ним до тех пор, пока оно не исчезнет. И вдруг Бернар сказал:

— Тереза... Я хотел вас спросить... — Он отвел глаза, потому что не мог выдержать взгляда этой женщины, и быстро добавил:

— Почему вы это сделали? Потому что ненавидели меня? Я внушал вам отвращение?

Он слушал собственные слова с удивлением и досадой. Тереза улыбнулась, потом с очень серьезным видом подняла на него глаза. Наконец-то! Бернар задал тот вопрос, над которым она задумалась бы прежде всего, будь она на его месте. Может быть, не напрасна будет исповедь, так долго подготовлявшаяся ею — сначала в коляске на пути в Низан, затем в поезде узкоколейки, увозившем ее в Сен-Клер, в ту ночь, когда она

так страстно, так терпеливо вспоминала, делала тяжкие усилия, чтобы найти истоки своего проступка. Может быть, наступила наконец минута, когда мучительное копание в себе возместится ей. Должно быть, она невольно внесла смятение в душу Бернара, все усложнила. И вот он задал ей вопрос, как будто случившееся ему не очень ясно и он не знает, что об этом думать. Теперь он не так примитивен в своих суждениях и не так безжалостен. Тереза бросила на этого нового для нее Бернара снисходительный, почти материнский взгляд. Ответила она, однако, насмешливым тоном:

— А разве вы не догадывались, что всему причиной ваши сосны? Я хотела одна владеть вашими соснами.

Он пожал плечами:

— Если я когда-нибудь и верил этому, то сейчас уже не верю. Почему вы это сделали? Теперь-то вы можете мне сказать?

Она смотрела куда-то вдаль; на покрытом грязью тротуаре, по которому текла густая толпа прохожих, в ту самую минуту, когда ей предстоит броситься в людской поток, биться там или покорно пойти ко дну, перед ней вдруг забрезжила заря: она увидела возможность возвращения в

потаенный и печальный край, жизнь в тишине Аржелуза, всю отданную размышлениям, уход в свой внутренний мир, совершенствование, поиски Бога... Бродячий торговец, марокканец, продававший коврики и стеклянные бусы, подумал, что она улыбается ему, и подошел. Тереза сказала все так же насмешливо:

— Я хотела было ответить вам: «Не знаю, почему я это сделала», — но теперь, представьте себе, я, пожалуй, знаю. Возможно, я сделала это для того, чтобы увидеть в ваших глазах тревогу, любопытство, словом, смятение, которые я уже целую минуту вижу в них.

Он проворчал сердитым тоном, напомнившим Терезе их свадебное путешествие:

— Как видно, вы до конца намереваетесь острить... Нет, скажите серьезно: почему?

Она перестала улыбаться и спросила, в свою очередь:

— А вы, Бернар, наверно, всегда знаете причины своих поступков, да?

— Конечно... Но крайней мере, мне так кажется.

— Я бы очень хотела, чтобы ничего не осталось скрытым от вас, знаете, я вся истерзалась, стараясь во всем разобраться. Но поймите, все

причины, какие я могла бы привести, едва я выразила бы их словами, показались бы мне ложными...

Бернар нетерпеливо перебил ее:

— Но был же все-таки день, когда вы решились, когда вы сделали то самое...

— Да, в день большого пожара около Мано.

Они придвинулись друг к другу и заговорили вполголоса. На этом людном парижском перекрестке при свете нежаркого солнца и дуновениях довольно холодного ветра, приносивших запах пряного заморского табака и развевавших фестоны желтых и красных маркиз над террасой кафе, Терезе казалось странным говорить о зной-ном дне Аржелуза, о небе, затянутом облаком дыма, о закопченной небесной лазури, о въед-ливом запахе гари, который шел от сгоревшего соснового бора, и о своем оцепеневшем в дремоте сердце, где медленно зарождался преступный замысел.

— Вот как это произошло. Мы сидели в столовой — там всегда закрывали ставни в жаркие часы и потому было темно. Вы говорили с Бальоном, повернув к нему голову, и позабыли считать капли, падавшие в стакан...

Тереза не смотрела на Бернара и говорила,

заботясь только об одном: как бы не упустить мельчайших подробностей, и вдруг услышала, что он смеется, и тогда взглянула на него — да, он смеялся обычным своим глупым смехом, а потом сказал: «Ну что это, право! За кого вы меня принимаете?» Он ей не поверил. (Да и по правде сказать, разве можно было поверить тому, что она говорила?) Он язвительно хихикал, и она узнавала прежнего Бернара — самоуверенного, самодовольного, который не даст себя провести. Он уже обрел свое обычное расположение духа, и она снова сбилась. Он ехидно сказал:

— Значит, эта мысль пришла вам внезапно, по наитию свыше, так, что ли?

Как он злился на себя, что вздумал расспрашивать Терезу. Ведь тем самым он мог потерять преимущества, которые ему давало презрение к ней, подавлявшее эту сумасшедшую, и она, черт ее подери, уже подняла голову! И зачем это он уступил нежданному желанию понять? Да и что можно понять у свихнувшихся баб? Но вот сорвался с языка вопрос... Нечаянный, необдуманный...

— Послушайте, Бернар, я говорю не для того, чтобы убедить вас в своей невиновности, вовсе нет!

И с какой страстной горячностью она принялась обвинять себя: пусть она действовала как лунатик, но ведь для этого надо было, по ее словам, чтобы мысль о преступлении уже целые месяцы созревала в ее сердце, чтобы она уже давно вынашивала преступный замысел. Это же ясно видно. С какой сознательной яростью, с каким упорством она после первых попыток продолжала осуществлять свое намерение.

— Я чувствовала себя преступницей лишь в ту минуту, когда рука моя колебалась. Я сердилась на себя за то, что продлеваю ваши мучения. Я считала, что надо идти до конца и не медлить! Я подчинялась какому-то ужасному долгу. Да, это было как будто долгом.

Бернар прервал ее:

— Бросьте громкие слова! Попытайтесь наконец сказать мне, чего вы хотели. Попытайтесь.

— Чего я хотела? Несомненно, мне легче было бы сказать, чего я не хотела. Я не хотела разыгрывать роль почтенной дамы, делать положенные жесты, произносить избитые фразы, словом, на каждом шагу отрекаться от той Терезы, которая... Вот, Бернар, хочу сказать правду, а почему-то мои слова звучат фальшиво!..

— Говорите тише, вон тот господин, что сидит

впереди нас, обернулся.

Бернар хотел теперь только одного: поскорее кончить объяснение. Но он знал, что эта свихнувшаяся женщина с превеликим удовольствием готова копаться во всяких психологических вывертах. И Тереза тоже понимала, что этот человек, на секунду приблизившийся к ней, вновь далек от нее, бесконечно далек. И все же она упорствовала, даже пробовала силу своей прелестной улыбки и низких, хрипловатых интонаций своего голоса, которые прежде ему так нравились.

— А теперь, Бернар, я хорошо чувствую, что Тереза, которая инстинктивно гасит окурок сигареты, помня, что из-за пустяка могут загореться заросли вереска, Тереза, которая любила сама считать свои сосны, сама выясняла, сколько собрано смолы, Тереза, которая гордилась, что она вышла замуж за одного из Дескейру, заняла подобающее ей место в одном из наиболее почтенных в ландах семейств, словом, довольная тем, что она хорошо устроилась, эта Тереза — существо реальное, но столь же реальна, столь же полна жизни и другая Тереза, и нет ни малейшего основания приносить в жертву эту другую!..

— Какую еще «другую»?

Она не знала, что ответить, он посмотрел на

часы. Она сказала:

— Придется мне все-таки приезжать иногда по делам и чтобы повидать Мари.

— По каким делам? Имущество у нас общее, и я сам управляю им. Мы же не будем возвращаться к этому вопросу, у нас все уже решено, правда? Вы будете занимать свое место на всех официальных церемониях, на которых для чести нашего имени и в интересах нашей семьи люди должны видеть меня с вами вместе. При такой многочисленной родне, как у нас, слава богу, достаточно бывает свадеб и похорон. Удивительно, например, будет, если дядя Мартен дотянет до осени. Вот и появится для вас повод приехать, — конечно, ненадолго, ведь вам у нас, кажется, все уже опротивело.

Конный полицейский приложил свисток к губам, и тогда открылись невидимые шлюзы, и армия пешеходов поспешно пересекла улицу, прежде чем на черный асфальт мостовой опять потоком хлынули такси. «Мне нужно было бы уйти как-нибудь ночью в Южные ланды, как это сделал Дагер. Идти бы среди чахлых сосен, какие растут на этой скудной земле, идти, идти, пока не иссякнут силы. У меня не хватило бы мужества окунуть голову в лагуну и держать ее под водой, чтобы захлебнуться (как это сделал в прошлом

году один аржелузский пастух, потому что сноха не давала ему есть). Но вот лечь в песках и закрыть глаза я могла бы... Только ведь ни воронье, ни муравьи не станут ждать...»

Тереза смотрела на живую человеческую реку, в которую она сейчас бросится, и тогда быстрое течение подхватит ее, повлечет, потащит по перекатам. Теперь ничего уж не поделаешь. Бернар опять достал часы:

— Без четверти одиннадцать. Едва успею заехать в гостиницу.

— Вам не жарко будет в дороге.

— Какое там! В автомобиле придется нынче вечером одеться потеплее.

И Тереза увидела мысленным взором дорогу, по которой Бернар покатит в машине, представила себе, как будет дуть ему в лицо холодный ветер, несущий запахи болот, смолистых щепок, дыма от сжигаемых сорных трав, запах мяты и тумана. Она поглядела на Бернара и улыбнулась той улыбкой, из-за которой в ландах дамы говорили: «Красавицей мадемуазель Терезу не назовешь, но она просто очаровательна!» Если бы Бернар сказал: «Я прощаю тебе. Едем со мной», — она встала бы и пошла за ним. Но Бернар, на минуту поддавшийся было неуместному волнению и

сердившийся на себя за это, теперь испытывал только отвращение к необычным поступкам и к словам, отличным от тех, которыми принято обмениваться каждый день. Бернар походил на прочные аржелузские тележки, сделанные «по колее», — ему нужны были проторенные, привычные дороги. И нынче вечером, вернувшись в Сен-Клер и войдя в столовую, он вновь попадет в свою колею и обретет душевный покой.

— Я хочу в последний раз попросить у вас прощения, Бернар.

Тереза произнесла эти слова чересчур торжественно и безнадежно — это была последняя ее попытка возобновить разговор. Но Бернар запротестовал:

— Не стоит больше говорить об этом.

— Вы будете чувствовать себя очень одиноким; пусть меня там не будет, я все-таки занимаю некоторое место. Для вас было бы лучше, если бы я умерла.

Он слегка пожал плечами и почти весело попросил ее «не расстраиваться из-за него».

— В каждом поколении Дескейру был свой старый холостяк! Эта роль выпала на мою долю. У меня все необходимые данные для нее (вы, полагаю, согласитесь со мной). Жалею только,

что у нас родилась дочь, а не сын, — угаснет имя. Правда, даже если бы мы продолжали жить вместе, второго ребенка мы бы не захотели иметь... Так что, в общем, все идет хорошо. Не вставайте, пожалуйста. Посидите еще тут.

Он знаком подозвал такси и на секунду подошел к Терезе напомнить ей, что по счету уже уплачено.

Она долго смотрела на бокал Бернара, где еще оставалось на донышке немного портвейна, потом снова стала разглядывать прохожих. Некоторые, по-видимому, поджидая кого-то, ходили взад и вперед. Какая-то женщина дважды обернулась и с улыбкой поглядела на Терезу (работница, а может быть, просто нарядилась работницей). В этот час пустели швейные мастерские. Тереза и не думала уходить из кафе — ей не было ни скучно, ни грустно. Она решила не ходить в этот день к Жану Азеведо и вздохнула с облегчением, — ей совсем не хотелось видеться с ним: опять разговаривать, подыскивать выражения. Она знала Жана Азеведо, но тех людей, с которыми стремилась сблизиться, она не знала — знала только то, что они не потребовали бы от нее слов. Тереза больше не боялась одиночества: она уже предчувствовала, что стоит ей подольше посидеть

неподвижно, и вокруг нее поднимется темный круговорот, смутное волнение, так же как потянулись бы к ней муравьи и сбежались бы собаки, если б тело ее неподвижно вытянулось в песках Южных ланд. Ей захотелось есть, она встала и увидела себя в большом зеркале, вставленном в резную раму старинного английского стиля: что ж, этой молодой даме очень идет ее дорожный костюм, облегающий фигуру! Но со времени ее заточения в Аржелузе лицо ее все еще оставалось изможденным, худеньким, оно словно истаяло, скулы выступали, нос казался коротким. Она подумала: «Я женщина без возраста». Она позавтракала на улице Руаяль (так она часто делала в своих мечтах). Ей не хотелось возвращаться сейчас в отель. Приятное тепло разливалось по телу после полбутылки пуйи. Она спросила сигарет. Какой-то молодой человек за соседним столиком чиркнул зажигалкой и поднес ей огонек; она улыбнулась. Подумать только, всего лишь час тому назад ей хотелось ехать вечером с Бернаром по дороге на Вилландро, все больше углубляясь в мрачный сумрак соснового бора! А разве так уж важно любить тот или иной край, сосны или клены, океан или равнину? Ничто ее теперь не интересует, кроме людей, существ из плоти и

крови. «Мне мил не этот каменный город, не музеи, не лекции, а живой лес, который тут волнуется, его раздирают такие яростные страсти, что с ними не сравнится ни одна буря. Стоны аржелузских сосен в тишине ночи только потому и тревожат, что в них есть что-то человеческое».

Тереза немного выпила и много курила. Она посмеивалась про себя довольным смехом. Тщательно подкрасив щеки и губы, она вышла на улицу и двинулась куда глаза глядят.